



# Ги де Мопассан

## Милый друг



Перевод с французского  
Николая Любимова

*ФТМ*



Ги д. Мопассан

## **Милый друг**

«ФТМ»

1885

**Мопассан Г. д.**

Милый друг / Г. д. Мопассан — «ФТМ», 1885

ISBN 978-5-4467-0714-0

Ги де Мопассан славится своим мастерством изысканно рисовать человеческие пороки, окутывая свои описания порочными и страстными любовными историями, а своих героев – ореолом таинственной смеси дьявольского и соблазнительного. Роман «Милый друг» повествует о несчастной судьбе ловеласа из высшего общества, у которого, тем не менее, не было ничего кроме его уникальной способности обольщать.

ISBN 978-5-4467-0714-0

© Мопассан Г. д., 1885

© ФТМ, 1885

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая                      | 5  |
| I                                 | 5  |
| II                                | 15 |
| III                               | 24 |
| IV                                | 35 |
| V                                 | 44 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 56 |

# Ги де Мопассан

## Милый друг

### Часть первая

#### I

Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу.

Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и, привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчина, точно ястреб, высматривает добычу.

Женщины подняли на него глаза; это были три молоденькие работницы, учительница музыки, средних лет, небрежно причесанная, неряшливо одетая, в запыленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье, и две мещанки с мужьями – завсегдатаи этой дешевой харчевни.

Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня двадцать восьмое июня; до первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит: два обеда, но никаких завтраков или два завтрака, но никаких обедов – на выбор. Так как завтрак стоит франк десять сантимов, а обед – полтора франка, то, отказавшись от обедов, он выгадает франк двадцать сантимов; стало быть, рассчитал он, можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой и выпить две кружки пива на бульваре<sup>1</sup>. А это его самый большой расход и самое большое удовольствие, которое он позволяет себе по вечерам. Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

Шагал он так же, как в те времена, когда на нем был гусарский мундир: выпятив грудь и слегка расставляя ноги, будто только что слез с коня. Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполонившей улицу: задевал прохожих плечом, толкался, никому не уступал дорогу. Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть набок и постукивая каблуками, он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских, который презирает решительно все: и людей, и дома – весь город.

Даже в этом дешевом, купленном за шестьдесят франков костюме<sup>2</sup> ему удавалось сохранять известную элегантность – пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность. Высокий рост, хорошая фигура, выющиеся русые, с рыжеватым отливом, волосы, расчесанные на прямой пробор, закрученные усы, словно пенившиеся на губе, светло-голубые глаза с буравчиками зрачков – все в нем напоминало соблазнителя из бульварного романа.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> ...две кружки пива на бульваре. – Для парижан второй половины XIX в. под «бульваром» мог пониматься только Итальянский бульвар, где была сосредоточена театральная, экономическая и общественная жизнь столицы. Именно сюда приходили известные журналисты, художники, аристократы, чтобы посидеть в кафе и ресторанах, отчего цены здесь были почти в два раза выше, чем, например, в квартале Батиньоль, где жил Дюруа. Бульварам, и в частности Итальянскому, посвящена хроника Мопассана «Бульвары» (опубликована в «Фигаро» 3 июля 1884 г.).

<sup>2</sup> ...купленном за шестьдесят франков костюме... – Деталь, характеризующая социальный статус Дюруа в начале его карьеры. В XIX в. в Париже появились магазины готовой одежды, однако костюмы в них покупали лишь представители среднего класса, имевшие более чем умеренный достаток.

<sup>3</sup> ...соблазнителя из бульварного романа. – К авторам бульварных романов принадлежали Жорж Онэ, Ксавье де Монтенпен, Пьер Декурсель, Д'Эннери. Согласно законам жанра, «злодей» изображался в них как обольститель, имеющий выправку офицера, переодетого в штатское платье, то есть именно так, как Мопассан описывает Дюруа.

Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. Город, жаркий, как парильня, казалось, задышался и истекал потом. Гранитные пасти сточных труб распространяли зловоние; из подвальных этажей, из низких кухонных окон несся отвратительный запах помоев и прокисшего соуса.

Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях покуривали у ворот; мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги, брели прохожие.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился в нерешительности. Его тянуло на Елисейские поля, в Булонский лес – подышать среди деревьев свежим воздухом. Но он испытывал и другое желание – желание встречи с женщиной.

Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца, каждый день, каждый вечер. Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви, но он надеялся на нечто большее и лучшее.

В карманах у него было пусто, а кровь между тем играла, и он распалялся от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших на углах: «Пойдем со мной, красавчик!» – но не смел за ними идти, так как заплатить ему было нечем; притом он все ждал чего-то иного, иных, менее доступных, поцелуев.

И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения, – их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на ты, дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину.

Он пошел по направлению к церкви Мадлен и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе выставляли своих посетителей напоказ, заливая их ослепительно ярким светом витрин. Перед посетителями на четырехугольных и круглых столиках стояли бокалы с напитками – красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всевозможных оттенков, а в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил шаг, – у него пересохло в горле.

Жгучая жажда, жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер, томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтрашний ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца.

«Потерплю до десяти, а там выпью кружку в Американском кафе<sup>4</sup>, – решил он. – А, черт, как, однако ж, хочется пить!» Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и утолявших жажду, – на всех этих людей, которые могли пить сколько угодно. Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей насмешливым и дерзким взглядом и определяя на глаз – по выражению лица, по одежде, – сколько у каждого из них должно быть с собой денег. И в нем поднималась злоба на этих расположившихся со всеми удобствами господ. Поройся у них в карманах – найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; в любом кафе сто человек, во всяком случае, наберется; два луидора помножить на сто – это четыре тысячи франков! «Сволочь!» – проворчал он, все так же изящно покачивая станом. Попадись бывшему унтер-офицеру кто-нибудь из них ночью в темном переулке, – честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею, как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами.

---

<sup>4</sup> ...выпью кружку в Американском кафе... – Американское кафе находилось в то время на бульваре Капуцинок. Там собиралось пестрое общество, жаждавшее развлечений.

Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов<sup>5</sup>. Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам при воспоминании об одной проделке: трем арабам из племени Улед-Алан она стоила жизни, зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур, двух баранов, золото, и при всем том целых полгода им было над чем смеяться.

Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали, – ведь араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата.

В Париже – не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие – с саблей на боку и с револьвером в руке, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне! Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло... Вышло черт знает что!

Точно желая убедиться, как сухо у него во рту, он, слегка прищелкнув, провел языком по нёбу.

Толпа скользила вокруг него, истомленная, вялая, а он, задевая встречных плечом и насвистывая веселые песенки, думал все о том же: «Скоты! И ведь у каждого из этих болванов водятся деньги!» Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед: «Нахал!»

Он прошел мимо Водевиля<sup>6</sup> и остановился против Американского кафе, подумывая, не выпить ли ему пива, – до того мучила его жажда. Но прежде чем на это решиться, он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом. Было четверть десятого. Он знал себя: как только перед ним поставят кружку с пивом, он мигом осушит ее до дна. А что он будет делать до одиннадцати?

«Пройдусь до церкви Мадлен, – сказал он себе, – и не спеша двинусь обратно».

На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел.

Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса:

– Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?

Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо, и этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным, одетым в гусарский мундир.

– Да ведь это Форестье! – вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него и спросил:

– Что вам угодно, сударь?

Дюруа засмеялся:

– Не узнаешь?

– Нет.

– Жорж Дюруа, из шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

– А, дружище! Как поживаешь?

– Превосходно, а ты?

---

<sup>5</sup> ...обирать до нитки арабов. – Мопассан во время своего пребывания в Африке в качестве корреспондента одной из парижских газет неоднократно был свидетелем подобных конфликтов между колонизаторами (французами) и местным населением (арабами).

<sup>6</sup> Он прошел мимо Водевиля... – Имеется в виду Театр водевиля, заново открытый на углу улицы Шоссе-д'Антен и бульвара Капуцинок в 1869 г. В эпоху, описываемую в романе, театр специализировался на постановках в жанре легкой комедии, которая так и называлась – бульварной.

– Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году, – все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Буживале<sup>7</sup>, как только вернулся во Францию.

– Вот оно что! А вид у тебя здоровый.

Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение.

– Я заведую отделом политики во «Французской жизни», помещаю в «Спасении» отчеты о заседаниях сената и время от времени даю литературную хронику в «Планету»<sup>8</sup>. Как видишь, я стал на ноги.

Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился, стал вполне зрелым человеком. Походка, манера держаться, костюм, брюшко – все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина, любящего плотно покушать. А прежде это был худой, тонкий и стройный юноша, ветрогон, забияка, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека – степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

– Ты куда направляешься? – спросил Форестье.

– Никуда, – ответил Дюруа, – просто гуляю перед сном.

– Что ж, может, проводишь меня в редакцию «Французской жизни»? Мне только посмотреть корректуру, а потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива.

– Идет.

И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.

– Что подделываешь? – спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

– По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы... чтобы сделать карьеру, – вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год.<sup>9</sup>

– Не густо, черт возьми, – промычал Форестье.

– Еще бы! Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю, обратиться не к кому. Дело не в нежелании, а в отсутствии возможностей.

Приятель, смерив его с ног до головы оценивающим взглядом опытного человека, наставительно заговорил:

– Видишь ли, дитя мое, здесь все зависит от апломба. Человеку мало-мальски сообразительному легче стать министром, чем столоначальником. Надо уметь производить впечатление, а вовсе не просить. Но неужели же, черт возьми, тебе не подвернулось ничего более подходящего?

---

<sup>7</sup> ...последствия бронхита, который я схватил... в Буживале... – Буживаль – предместье Парижа, расположенное на берегу Сены напротив Шату. Здесь с начала 1860-х гг. устраивались любительские лодочные регаты, имевшие своей целью не только спортивные упражнения, но и любовные приключения, чему благоприятствовало большое количество кафе и питейных заведений, расположенных в окрестностях. В подобных прогулках любил принимать участие и Мопассан, так что за внешне невинной репликой Форестье скрывается намек на бурную жизнь, которую он когда-то вел и в которой проецируется собственный опыт Мопассана.

<sup>8</sup> «Французская жизнь», «Спасение», «Планета». – Названия газет – вымышленные. Однако в первой редакции романа наряду с ними фигурировала и реально существовавшая газета «Жиль Блаз», в которой печатался сам Мопассан.

<sup>9</sup> ...полторы тысячи франков в год. – Эта цифра соответствует сумме, которую Мопассан получал в 1873 г., находясь на службе в морском министерстве.

– Я обил все пороги, но без толку, – возразил Дюруа. – Впрочем, сейчас у меня есть кое-что на примете: мне предлагают место берейтора в манеже Пелерена<sup>10</sup>. Там я на худой конец заработаю три тысячи франков.

– Не делай этой глупости, – прервал его Форестье, – даже если тебе посулят десять тысяч франков. Ты сразу отрежешь себе все пути. У себя в канцелярии ты по крайней мере не на виду, тебя никто не знает, и, при известной настойчивости, со временем ты выберешься оттуда и сделаешь карьеру. Но берейтор – это конец. Это все равно что поступить метрдотелем в ресторан, где обедает «весь Париж». Раз ты давал уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, то они уже не могут смотреть на тебя, как на ровню. – Он замолчал и, подумав несколько секунд, спросил: – У тебя есть диплом бакалавра?

– Нет, я дважды срезался.

– Это не беда при том условии, если ты все-таки окончил среднее учебное заведение. Когда при тебе говорят о Цицероне или о Тиберии, ты примерно представляешь себе, о ком идет речь?

– Да, примерно.

– Ну и довольно, больше о них никто ничего не знает, кроме десятка-другого остолопов<sup>11</sup>, которые, кстати сказать, умнее от этого не станут. Сойти за человека сведущего совсем нетрудно, поверь. Все дело в том, чтобы тебя не уличили в явном невежестве. Надо лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия и при помощи энциклопедического словаря сажать в калошу других. Все люди – круглые невежды и глупы, как бревна.

Форестье рассуждал с беззлобной иронией человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на встречаемых. Но вдруг закашлялся, остановился и, когда приступ прошел, упавшим голосом проговорил:

– Вот привязался проклятый бронхит! А ведь лето в разгаре. Нет уж, зимой я непременно поеду лечиться в Ментону. Какого черта, в самом деле, здоровье дороже всего!

Они остановились на бульваре Пуасоньер, возле большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Какие-то трое стояли и читали ее.

Над дверью, точно воззвание, приковывала к себе взгляд ослепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами<sup>12</sup>, составленными из газовых рожков: «Французская жизнь». В полосе яркого света, падавшего от этих пламенеющих слов, внезапно возникали фигуры прохожих, явственно различимые, четкие, как днем, и тотчас же снова тонули во мраке.

Форестье толкнул дверь.

– Сюда, – сказал он.

Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, которую хорошо было видно с улицы, и, пройдя через переднюю, где двое рассыльных поклонились его приятелю, очутился в пыльной и обшарпанной приемной, – стены ее были обиты выцветшим желтовато-зеленым трипом, усеянным пятнами, а кое-где словно изъеденным мышами.

– Присядь, – сказал Форестье, – я вернусь через пять минут.

---

<sup>10</sup> Манеж Пелерена – вымышленное название.

<sup>11</sup> ...о Цицероне или о Тиберии... никто ничего не знает, кроме десятка-другого остолопов... – Еще Оноре де Бальзак (1799–1850) в «Человеческой комедии» (1830–1848) показал, насколько мало уважения испытывают к образованию в современном ему обществе и как часто успешная карьера не зависит от имеющегося диплома. Эта тема была близка Мопассану, чье образование не продвинулось далее степени бакалавра.

<sup>12</sup> ...ослепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами... – Мопассан высмеивает практику, характерную для большинства издательств газет и журналов его времени: роскошный фасад, служащий рекламой, за которым скрывается убогое помещение.

И он скрылся за одной из трех дверей, выходящих в приемную.

Станный, особенный, непередаваемый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа, скорее изумленный, чем оробевший, не шевелился. Время от времени какие-то люди пробежали мимо него из одной двери в другую, – так быстро, что он не успевал разглядеть их.

С деловым видом сновали совсем еще зеленые юнцы, держа в руке лист бумаги, колыхавшийся на ветру, который они поднимали своей беготней. Наборщики, у которых из-под халата, запачканного типографской краской, виднелись суконные брюки, точь-в-точь такие же, как у светских людей, и чистый белый воротничок, бережно несли кипы оттисков – свеженабранные, еще сырые гранки. Порой входил щуплый человечек, одетый чересчур франтовски, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур обтягивавших ногу, в ботинках с чересчур узким носком, – какой-нибудь репортер, доставлявший вечернюю светскую хронику.

Приходили и другие люди, надутые, важные, все в одинаковых цилиндрах с плоскими полями, – видимо, они считали, что один этот фасон шляпы уже отличает их от простых смертных.

Наконец появился Форестье под руку с самодовольным и развязным господином средних лет, в черном фраке и белом галстуке, очень смуглым, высоким, худым, с торчащими вверх кончиками усов.

– Всего наилучшего, уважаемый мэтр, – сказал Форестье.

Господин пожал ему руку.

– До свидания, дорогой мой.

Он сунул тросточку под мышку и, посвистывая, стал спускаться по лестнице.

– Кто это? – спросил Дюруа.

– Жак Риваль, – знаешь, этот известный фельетонист и дуэлист? Он просматривал корректуру. Гарен, Монтель и он – лучшие парижские журналисты: самые остроумные и злободневные фельетоны принадлежат им. Риваль дает нам два фельетона в неделю и получает тридцать тысяч франков в год.

Они вышли. Навстречу им, отдуваясь, поднимался по лестнице небольшого роста человек, грузный, лохматый и неопрятный.

Форестье низко поклонился ему.

– Норбер де Варен, поэт, автор «Угасших светил», тоже в большой цене, – пояснил он. – Ему платят триста франков за рассказ, а в самом длинном его рассказе не будет и двухсот строк. Слушай, зайдем в Неаполитанское кафе, я умираю от жажды.

Как только они заняли места за столиком, Форестье крикнул: «Две кружки пива!» – и залпом осушил свою; Дюруа между тем отхлебывал понемножку, наслаждаясь, смакуя, словно это был редкостный, драгоценный напиток.

Его приятель молчал и, казалось, думал о чем-то, потом неожиданно спросил:

– Почему бы тебе не заняться журналистикой?

Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд:

– Но... дело в том, что... я никогда ничего не писал.

– Ну так попробуй, начни! Ты мог бы мне пригодиться: добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. На первых порах будешь получать двести пятьдесят франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю с издателем?

– Конечно, хочу.

– Тогда вот что: приходи ко мне завтра обедать. Соберется у меня человек пять-шесть, не больше: мой патрон – господин Вальтер с супругой, Жак Риваль и Норбер де Варен, которых ты только что видел, и приятельница моей жены. Придешь?

Дюруа колебался, весь красный, смущенный.

– Дело в том, что... у меня нет подходящего костюма, – запинаясь, проговорил он. Форестье опешил:

– У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака.

Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем.

– Отдашь, когда сможешь, – сказал он дружеским, естественным тоном. – Возьми костюм напрокат или дай задаток и купи в рассрочку, это уж дело твое, но только непременно приходи ко мне обедать: завтра, в половине восьмого, улица Фонтен, семнадцать.

Дюруа был тронут.

– Ты так любезен! – пряча деньги, пробормотал он. – Большое тебе спасибо! Можешь быть уверен, что я не забуду...

– Довольно, довольно! – прервал Форестье. – Давай еще по кружке, а? Гарсон, две кружки! – крикнул он.

Когда пиво было выпито, журналист предложил:

– Ну как, погуляем еще часок?

– Конечно, погуляем.

И они пошли в сторону Мадлен.

– Что бы нам такое придумать? – сказал Форестье. – Уверяют, будто в Париже фланер всегда найдет, чем себя занять, но это не так. Иной раз вечером и рад бы куда-нибудь пойти, да не знаешь куда. В Булонском лесу приятно кататься с женщиной, а женщины не всегда под рукой. Кафешантаны способны развлечь моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же остается? Ничего. В Париже надо бы устроить летний сад вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь и где можно было бы выпить под деревьями чего-нибудь прохладительного и послушать хорошую музыку. Это должно быть не увеселительное место, а просто место для гуляния. Плату за вход я бы назначил высокую, чтобы привлечь красивых женщин. Хочешь – гуляй по дорожкам, усыпанным песком, освещенным электрическими фонарями, а то сиди и слушай музыку, издали или вблизи. Нечто подобное было когда-то у Мюзара<sup>13</sup>, но только с кабацким душком: слишком много танцевальной музыки, мало простора, мало тени, мало древесной сени. Необходим очень красивый, очень большой сад. Это было бы чудесно. Итак, куда бы ты хотел?

Дюруа не знал, что ответить. Наконец он надумал:

– Мне еще ни разу не пришлось побывать в Фоли-Бержер<sup>14</sup>. Я охотно пошел бы туда.

– Что, в Фоли-Бержер? – воскликнул его спутник. – Да мы там изжаримся, как на сковородке. Впрочем, как хочешь, – это, во всяком случае, забавно.

И они повернули обратно, с тем чтобы выйти на улицу Фобур-Монмартр.

Блиставший огнями фасад увеселительного заведения бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы. Вереница фиакров дожидалась разъезда.

Форестье направился прямо к входной двери, но Дюруа остановил его:

– Мы забыли купить билеты.

– Со мной не платят, – с важным видом проговорил Форестье.

---

<sup>13</sup> ...у Мюзара... – Филипп Мюзар (1792–1859), музыкант, устроитель публичных музыкальных вечеров, балов и маскарадов под открытым небом на Елисейских полях, входной билет на которые стоил один франк. Во времена, описываемые в романе, такие вечера уже отошли в прошлое, но пожилые парижане по инерции еще говорили «у Мюзара».

<sup>14</sup> ...Фоли-Бержер... – Открытый в 1869 г. театр Фоли-Бержер был сначала аттракционом, затем музыкальной комедией, а позже – цирком. Сюда приходили кокетки, но также художники, писатели, аристократическая богема. О Фоли-Бержер во времена Мопассана говорили, что это – «место элегантного порока и строго отмеренной галантности». Другое его наименование той же эпохи – «элегантный курятник». Упоминание Фоли-Бержер часто встречается в произведениях Мопассана.

Три контролера поклонились ему. С тем из них, который стоял в середине, журналист поздоровался за руку.

– Есть хорошая ложа? – спросил он.

– Конечно, есть, господин Форестье.

Форестье взял протянутый ему билетик, толкнул обитую кожей дверь, и приятели очутились в зале.

Табачный дым тончайшей пеленою мглы застилал сцену и противоположную сторону зала. Поднимаясь чуть заметными белесоватыми струйками, этот легкий туман, порожденный бесчисленным множеством папирос и сигар, постепенно сгущался вверх, образуя под куполом, вокруг люстры и над битком набитым вторым ярусом подобие неба, подернутого облаками.

В просторном коридоре, вливавшемся в полукруглый проход, что огибал ряды и ложи партера и где разряженные коготки шныряли в темной толпе мужчин, перед одной из трех стоек, за которыми восседали три накрашенные и потрепанные продавщицы любви и напитков, группа женщин подстерегала добычу.

В высоких зеркалах отражались спины продавщиц и лица входящих зрителей.<sup>15</sup>

Форестье, расталкивая толпу, быстро продвигался вперед с видом человека, который имеет на это право.

Он подошел к капельдинерше:

– Где семнадцатая ложа?

– Здесь, сударь.

И она заперла обоих в деревянном открытом сверху и обитом красной материей ящике, внутри которого помещалось четыре красных стула, поставленных так близко один к другому, что между ними почти невозможно было пролезть. Друзья уселись. Справа и слева от них, изгибаясь подковой, тянулся до самой сцены длинный ряд точно таких же клеток, где тоже сидели люди, которые были видны только до пояса.

На сцене трое молодых людей в трико – высокий, среднего роста и низенький – по очереди проделывали на трапеции акробатические номера.

Сперва быстрыми мелкими шажками, улыбаясь и посылая публике воздушные поцелуи, выходил вперед высокий.

Под трико обрисовывались мускулы его рук и ног. Чтобы не слишком заметен был его толстый живот, он выпячивал грудь. Ровный пробор как раз посередине головы придавал ему сходство с парикмахером. Грациозным прыжком он взлетал на трапецию и, повиснув на руках, вертелся колесом. А то вдруг, выпрямившись и вытянув руки, принимал горизонтальное положение и, держась за перекладину пальцами, в которых была теперь сосредоточена вся его сила, на несколько секунд застывал в воздухе.

Затем спрыгивал на пол, снова улыбался, кланялся рукоплескавшему партеру и, играя упругими икрами, отходил к кулисам.

За ним второй, поменьше ростом, но зато более коренастый, проделывал те же номера и, наконец, третий – и все это при возрастающем одобрении публики.

Но Дюруа отнюдь не был увлечен зрелищем; повернув голову, он не отрывал глаз от широкого прохода, где толпились мужчины и проститутки.

– Обрати внимание на первые ряды партера, – сказал Форестье, – одни добродушные, глупые лица мещан, которые вместе с женами и детьми приходят сюда поглазеть. В ложах – гуляки, кое-кто из художников, несколько второсортных кокоток, а сзади нас – самая забавная смесь, какую можно встретить в Париже. Кто эти мужчины? Приглядишься к ним. Кого-

---

<sup>15</sup> В высоких зеркалах отражались спины продавщиц и лица входящих зрителей. – Описание напоминает картину Эдуара Мане (1832–1883) «Бар „Фоли Бержер“», выставленную в Салоне 1882 г.

кого тут только нет, – люди всякого чина и звания, но преобладает мелюзга. Вот служащие – банковские, министерские, по торговой части, – репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, хлыщи во фраках – эти пообедали в кабачке, успели побывать в Опере и прямо отсюда отправятся к Итальянцам<sup>16</sup>, – и целая тьма подозрительных личностей. А женщины все одного пошиба: ужинают в Американском кафе и сами извещают своих постоянных клиентов, когда они свободны. Красная цена им два луидора, но они подкарауливают иностранцев, чтобы содрать с них пять. Таскаются они сюда уже лет шесть, – их можно видеть здесь каждый вечер, круглый год, на тех же самых местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине.<sup>17</sup>

Дюруа не слушал. Одна из таких женщин, прислонившись к их ложе, уставилась на него. Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими из-под огромных нарисованных бровей. Пышная ее грудь натягивала черный шелк платья; накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание.

Кивком она подозвала проходившую мимо подругу, рыжеватую блондинку, такую же дебелиую, как она, и умышленно громко, чтобы ее услышали в ложе, сказала:

– Гляди-ка, правда, красивый малый? Если он захочет меня за десять луидоров, я не откажусь.

Форестье повернулся лицом к Дюруа и, улыбаясь, хлопнул его по колену:

– Это она о тебе. Ты пользуешься успехом, мой милый. Поздравляю.

Бывший унтер-офицер покраснел; пальцы его невольно потянулись к жилетному карману, в котором лежали две золотые монеты.

Занавес опустился. Оркестр, заиграл вальс.

– Не пройтись ли нам? – предложил Дюруа.

– Как хочешь.

Не успели они выйти, как их подхватила волна гуляющих. Их жали, толкали, давили, швыряли из стороны в сторону, а перед глазами у них мелькал целый рой шляп. Женщины ходили парами; скользя меж локтей, спин, грудей, они свободно двигались в толпе мужчин, – видно было, что здесь для них раздолье, что они в своей стихии, что в этом потоке самцов они чувствуют себя как рыбы в воде.

Дюруа в полном восторге плыл по течению, жадно втягивая в себя воздух, отравленный никотином, насыщенный испарениями человеческих тел, пропитанный духами продажных женщин. Но Форестье потел, задыхался, кашлял.

– Пойдем в сад, – сказал он.

Повернув налево, они увидели нечто вроде зимнего сада, освежаемого двумя большими аляповатыми фонтанами. За цинковыми столиками, под тисами и туями в кадках, мужчины и женщины пили прохладительное.

– Еще по кружке? – предложил Форестье.

– С удовольствием.

Они сели и принялись рассматривать публику.

Время от времени к ним подходила какая-нибудь девица и, улыбаясь заученной улыбкой, спрашивала: «Чем угостите, сударь?» Форестье отвечал: «Стаканом воды из фонтана», и, проворчав: «Свинья!», она удалялась.

---

<sup>16</sup> ...отсюда отправятся к Итальянцам... – Имеется в виду Итальянский театр, находившийся неподалеку от Оперы; был закрыт в 1878 г. Однако в 1883–1884 гг. (приблизительное время действия романа) еще предпринимались попытки поставить на его сцене спектакли.

<sup>17</sup> ...на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине. – В описываемое время Сен-Лазаром назывались женская тюрьма и находившаяся при ней больница, куда свозили проститутку с венерическими заболеваниями. Больница Лурсин, поначалу ночлежка, была лечебным учреждением того же профиля.

Но вот появилась полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их ложе; вызывающе глядя по сторонам, она шла под руку с полной блондинкой. Это были бесспорно красивые женщины, как бы нарочно подобранные одна к другой.

При виде Дюруа она улыбнулась так, словно они уже успели взглядом сказать друг другу нечто интимное, понятное им одним. Взяв стул, она преспокойно уселась против него, усадила блондинку и звонким голосом крикнула:

– Гарсон, два «гренадина»!

– Однако ты не из робких! – с удивлением заметил Форестье.

– Твой приятель вскружил мне голову, – сказала она. – Честное слово, он душка. Боюсь, как бы мне из-за него не наделать глупостей!

Дюруа от смущения не нашелся что сказать. Он крутил свой пушистый ус и глупо ухмылялся. Гарсон принес воду с сиропом. Женщины выпили ее залпом и поднялись. Брюнетка, приветливо кивнув Дюруа, слегка ударила его веером по плечу.

– Спасибо, котик, – сказала она. – Жаль только, что из тебя слова не вытянешь.

И, покачивая бедрами, они пошли к выходу.

Форестье засмеялся:

– Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты и правда имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти.

После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил:

– Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди.

Дюруа молча улыбался.

– Ты остаешься? – спросил Форестье. – А я ухожу, с меня довольно.

– Да, я немного побуду. Еще рано, – пробормотал Дюруа.

Форестье встал:

– В таком случае прощай. До завтра. Не забыл? Улица Фонтен, семнадцать, в половине восьмого.

– Хорошо. До завтра. Благодарю.

Они пожали друг другу руки, и журналист ушел.

Как только он скрылся из виду, Дюруа почувствовал себя свободнее. Еще раз с удовлетворением нащупав в кармане золотые монеты, он поднялся и стал пробираться в толпе, шаря по ней глазами.

Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, с видом нищих гордячек бродивших в толчее, среди мужчин.

Он направился к ним, но, подойдя вплотную, вдруг оробел.

– Ну что, развязался у тебя язык? – спросила брюнетка.

– Канальство! – пробормотал Дюруа; больше он ничего не мог выговорить.

Они стояли все трое на самой дороге, и вокруг них уже образовался водоворот.

– Пойдем ко мне? – неожиданно предложила брюнетка.

Трепеща от желания, он грубо ответил ей:

– Да, но у меня только один луидор.<sup>18</sup>

На лице женщины мелькнула равнодушная улыбка.

– Ничего, – сказала она и, завладев им, как своей собственностью, взяла его под руку.

Идя с нею, Дюруа думал о том, что на остальные двадцать франков он, конечно, достанет себе фрак для завтрашнего обеда.

---

<sup>18</sup> ...только один луидор. – Таким был «тариф» «барышень», о которых пишет Мопассан; причем сначала они просили пять луидоров (луидор – золотая монета достоинством в 20 франков), а в конце концов довольствовались одним. Отсюда «равнодушная» улыбка брюнетки в ответ на реплику Дюруа.

## II

– Где живет господин Форестье?

– Четвертый этаж<sup>19</sup>, налево.

В любезном тоне швейцара слышалось уважение к жильцу. Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он был слегка смущен, взволнован, чувствовал какую-то неловкость. Фрак он надел первый раз в жизни, да и весь костюм в целом внушал ему опасения. Он находил изысканности во всем, начиная с ботинок, не лакированных, хотя довольно изящных, – Дюруа любил хорошую обувь, – и кончая сорочкой, купленной утром в Лувре<sup>20</sup> за четыре с половиной франка вместе с манишкой, слишком тонкой и оттого успевшей смяться. Старые же его сорочки были до того изношены, что он не рискнул надеть даже самую крепкую.

Брюки, чересчур широкие, плохо обрисовывавшие ногу и собиравшиеся складками на икрах, имели тот потрепанный вид, какой сразу приобретает случайная, сшитая не по фигуре вещь. Только фрак сидел недурно – он был ему почти впору.

С замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным, медленно поднимался он вверх по ступенькам, как вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор. Они оказались так близко друг к другу, что Дюруа отпрянул – и замер на месте: это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем на площадке второго этажа и создававшим иллюзию длинного коридора. Он задрожал от восторга, – в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе.

Дома он пользовался зеркальцем для бритья, в котором нельзя было увидеть себя во весь рост; кое-как удалось ему рассмотреть лишь отдельные детали своего импровизированного туалета, и он преувеличивал его недостатки и приходил в отчаяние при мысли, что он смешон.

Но вот сейчас, нечаянно взглянув в трюмо, он даже не узнал себя, – он принял себя за кого-то другого, за светского человека, одетого, как ему показалось с первого взгляда, шикарно, безукоризненно.

Подвергнув себя подробному осмотру, он нашел, что у него в самом деле вполне приличный вид.

Тогда он принялся, точно актер, разучивающий роль, репетировать перед зеркалом. Он улыбался, протягивал руку, жестикулировал, старался изобразить на своем лице то удивление, то удовольствие, то одобрение и найти такие оттенки улыбки и взгляда, по которым дамы сразу признали бы в нем галантного кавалера и которые убедили бы их, что он очарован и увлечен ими.

Внизу хлопнула дверь. Испугавшись, что его могут застать врасплох и что кто-нибудь из гостей его друга видел, как он кривлялся перед зеркалом, Дюруа стал быстро подниматься по лестнице.

На площадке третьего этажа тоже стояло зеркало, и Дюруа замедлил шаг, чтобы осмотреть себя на ходу. В самом деле, фигура у него стройная. Походка тоже не оставляет желать лучшего. И безграничная вера в себя мгновенно овладела его душой. Разумеется, с такой внешностью, с присущим ему упорством в достижении цели, смелостью и независимым

---

<sup>19</sup> Четвертый этаж... – В XIX в. престижными считались лишь нижние этажи. Следовательно, Форестье жил в квартире, которая считалась достаточно respectable, но не принадлежала к лучшим квартирам дома.

<sup>20</sup> ...купленной утром в Лувре... – «Лувр» и «Бон марше» – названия двух «больших магазинов», которые в туристических проспектах рекомендовались как относительно недорогие и были новинкой для парижан.

складом ума он своего добьется. Ему хотелось взбежать, перепрыгивая через ступеньки, на верхнюю площадку лестницы. Остановившись перед третьим зеркалом, он привычным движением подкрутил усы, снял шляпу, пригладил волосы и, пробормотав то, что он всегда говорил в таких случаях: «Придуманно здорово», нажал кнопку звонка.

Дверь отворилась почти тотчас же, и при виде лакея в черном фраке и лакированных ботинках, бритого, важного, в высшей степени представительного, Дюруа вновь ощутил смутное, непонятное ему самому беспокойство: быть может, он невольно сравнил свой костюм с костюмом лакея. Взяв у Дюруа пальто, которое тот, чтобы скрыть пятна, держал, перекинув на руку, лакей спросил:

– Как прикажете доложить?

Затем приподнял портьеру, отделявшую переднюю от гостиной, и отчетливо произнес его имя.

Дюруа мгновенно утратил весь свой апломб, он оцепенел, он едва дышал от волнения. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений напоминавшей оранжерею, стояла молодая белокурая женщина.

Он остановился как вкопанный. Кто эта улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестье женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка – жена его друга, привела его в полное замешательство.

– Сударыня, я... – пробормотал он.

Она протянула ему руку.

– Я знаю, сударь. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами.

Он не нашелся что ей ответить, и покраснел до ушей, он чувствовал, что его осматривают с ног до головы, прощупывают, оценивают, изучают.

Ему хотелось извиниться за свой туалет, как-нибудь объяснить его погрешности, но он ничего не мог придумать и так и не решился затронуть этот щекотливый предмет.

Он опустился в кресло, на которое ему указала хозяйка, и как только под ним прогнулось мягкое и упругое сиденье, как только он сел поглубже, откинулся и ощутил ласковое прикосновение спинки и ручек, бережно заключивших его в свои бархатные объятия, ему показалось, что он вступил в новую, чудесную жизнь, что он уже завладел чем-то необыкновенно приятным, что он уже представляет собою нечто, что он спасен. И тогда он взглянул на г-жу Форестье, не спускавшую с него глаз.

На ней было бледно-голубое кашемировое платье, четко обрисовывавшее ее тонкую талию и высокую грудь. Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми были отделаны корсаж и короткие рукава. Волосы, собранные в высокую прическу, чуть вились на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко.

Взгляд ее, чем-то напоминавший Дюруа взгляд женщины, встреченной им накануне в Фоли-Бержер, действовал на него ободряюще. У нее были серые глаза, серые с голубоватым оттенком, который придавал им особенное выражение, тонкий нос, полные губы и несколько пухлый подбородок, – неправильное и вместе с тем очаровательное лицо, лукавое и прелестное. Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого полна своеобразного обаяния и представляется значительной, малейшее изменение которого словно и говорит и скрывает что-то.

Выдержав короткую паузу, она спросила:

– Вы давно в Париже?

– Всего несколько месяцев, сударыня, – постепенно овладевая собой, заговорил он. – Я служу на железной дороге, но Форестье меня обнадежил: говорит, что с его помощью мне удастся стать журналистом.

Она улыбнулась, на этот раз более радушной и широкой улыбкой, и, понизив голос, сказала:

– Я знаю.

Снова раздался звонок. Лакей доложил:

– Госпожа де Марель.

Вошла маленькая смуглая женщина<sup>21</sup>, из числа тех, о которых говорят: жгучая брюнетка.

Походка у нее была легкая. Темное, очень простое платье облегалo и обрисовывало всю ее фигуру.

Невольно останавливала взгляд красная роза, приколотая к ее черным волосам: она одна оттеняла ее лицо, подчеркивала то, что в нем было оригинального, сообщала ему живость и яркость.

За нею шла девочка в коротком платье. Г-жа Форестье бросилась к ним навстречу:

– Здравствуй, Клотильда.

– Здравствуй, Мадлена.

Они поцеловались. Девочка, с самоуверенностью взрослой, подставила для поцелуя лобик.

– Здравствуйте, кузина, – сказала она.

Поцеловав ее, г-жа Форестье начала знакомить гостей:

– Господин Жорж Дюруа, старый товарищ Шарля. Госпожа де Марель, моя подруга и дальняя родственница. – И, обращаясь к Дюруа, добавила: – Знаете, у нас тут просто, без церемоний. Вы ничего не имеете против?

Молодой человек поклонился.

Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой выше его ростом и значительно моложе, обращавшей на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это были г-н Вальтер, депутат, финансист, богач и делец, еврей-южанин, издатель «Французской жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равало, дочь банкира.

Потом один за другим появились Жак Риваль, одетый весьма элегантно, и Норбер де Варен, – у этого ворот фрака блестел, натертый длинными, до плеч, волосами, с которых сыпалась перхоть, а небрежно завязанный галстук был далеко не первой свежести. С кокетливостью бывшего красавца он подошел к г-же Форестье и поцеловал ей руку. Когда он нагнулся, его длинные космы струйками разбежались по ее голой руке.

Наконец вошел сам Форестье и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира.<sup>22</sup>

– Кушать подано, – объявил слуга.

Все перешли в столовую.

---

<sup>21</sup> *Вошла маленькая смуглая женщина...* – Считается, что в описании госпожи де Марель нашли отражение черты Жизель д'Эсток, приятельницы Мопассана в период его работы над «Милым другом».

<sup>22</sup> *...кредитов на колонизацию Алжира.* – В апреле 1881 г. правительство Жюль Ферри (1832–1893) потребовало кредиты на проведение военной операции в Тунисе, поводом для которой послужило якобы произошедшее нападение воинственного племени крумиров на французских солдат, охранявших границы Алжира (колония Франции с 1830 г.). Среди противников этих мер были журналист и политический деятель Анри Рошфор (1831–1913) и лидер левых радикалов Жорж Клемансо (1841–1929).

Дюруа посадили между г-жой де Марель и ее дочкой. Он опять почувствовал себя неловко: он не умел обращаться с вилок, ложкой, бокалами и боялся нарушить этикет. Перед ним поставили четыре бокала, причем один – голубоватого цвета. Интересно знать, что из него пьют?

За супом молчали, потом Норбер де Варен спросил:

– Вы читали о процессе Готье? Занятная история!

И тут все принялись обсуждать этот случай, где к адюльтеру примешался шантаж<sup>23</sup>. Здесь говорили о нем не так, как в семейном кругу говорят о происшествиях, известных по газетам, но как врачи о болезни, как зеленщики об овощах. Никто не удивлялся, не выражал возмущения, – все с профессиональным любопытством и полным равнодушием к самому преступлению отыскивали его глубокие, тайные причины. Пытались выяснить мотивы поступков, определить мозговые явления, вызвавшие драму, а сама эта драма рассматривалась как прямое следствие особого душевного состояния, которому можно найти научное объяснение. Этим исследованием, этими поисками увлеклись и дамы. Точно так же, с точки зрения вестовщиков, торгующих человеческой комедией построено, были изучены, истолкованы, осмотрены хозяйским глазом со всех сторон, оценены по их действительной стоимости и другие текущие события, подобно тому как лавочники переворачивают, осматривают и взвешивают свой товар, прежде чем предложить его покупателям.

Потом зашла речь об одной дуэли, и тут Жак Риваль овладел всеобщим вниманием. Это была его область, никто другой не смел касаться этого предмета.

Дюруа не решался вставить слово. Прельщенный округлыми формами своей соседки, он время от времени поглядывал на нее. С кончика ее уха, точно капля воды, скользящая по коже, на золотой нитке свисал бриллиант. Каждое ее замечание вызывало у всех улыбку. Оно заключало в себе забавную, милую, всякий раз неожиданную шутку, шутку бедовой девчонки, ничего не принимающей близко к сердцу, судящей обо всем с поверхностным и добродушным скептицизмом.

Дюруа старался придумать для нее комплимент, но так и не придумал и занялся дочкой: наливал ей вина, передавал кушанья – словом, ухаживал за ней. Девочка, более строгая, чем мать, благодарила его небрежным кивком головы, важным тоном произносила: «Вы очень любезны, сударь», и снова с комически серьезным видом принималась слушать, о чем говорят взрослые.

Обед удался на славу, и все выражали свое восхищение. Вальтер ел за десятерых и почти все время молчал; когда подносили новое блюдо, он смотрел на него из-под очков косым, прицеливающимся взглядом. Не отставал от Вальтера и Норбер де Варен, по временам ронявший капли соуса на манишку.

Форестье, улыбающийся и озабоченный, за всем наблюдал и многозначительно переглядывался с женой, словно это был его расторопный помощник, словно они сообща выполняли трудную, но успешно продвигающуюся работу.

Лица покраснелись, голоса становились громче. Слуга то и дело шептал на ухо обедающим:

– «Кортон»? «Шато-Лароз»?

---

<sup>23</sup> ...случай, где к адюльтеру примешался шантаж. – Вопросы адюльтера интересовали Мопассана; он неоднократно писал об этой проблеме в «Хрониках». Полемизируя с отдельными представителями натуральной школы, пытавшимися объяснить склонность к адюльтеру наследственностью и детерминизмом, Мопассан задавался вопросом: как описать в рамках нормы то, что от нормы ускользает? Газетные «хроники происшествий» действительно нередко использовались в целях шантажа. Так, один журналист и знакомый Мопассана, чтобы развестись с женой, воспользовался распространявшимися им самим в газетах слухами об их дурных отношениях – ситуация, которая отчасти разыгрывается и в романе «Милый друг».

Дюруа пришелся по вкусу «кортон», и он всякий раз подставлял свой бокал. Радостное, необыкновенно приятное возбуждение, горячей волной приливавшее от желудка к голове и растекавшееся по жилам, мало-помалу захватило его целиком. Для него наступило состояние полного блаженства, блаженства, поглощавшего все его мысли и чувства, блаженства души и тела.

Ему хотелось говорить, обратить на себя внимание, хотелось, чтобы его слушали, чтобы к нему относились так же, как к любому из этих людей, каждое слово которых подхватывалось здесь на лету.

Между тем общий разговор, который не прекращался ни на минуту, нанизывал одно суждение на другое и по самому ничтожному поводу перескакивал с предмета на предмет; наконец, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи других вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира.

Вальтер, отличавшийся игривостью ума и скептическим взглядом на вещи, в перерыве между двумя блюдами отпустил на этот счет несколько острых словечек. Форестье изложил содержание своей статьи, написанной для завтрашнего номера. Жак Риваль указал на необходимость учредить в колониях военную власть и предоставить каждому офицеру, прослужившему в колониальных войсках тридцать лет, земельный участок в Алжире.

– Таким путем вы создадите деятельное общество, – утверждал он, – люди постепенно узнают и полюбят эту страну, выучатся говорить на ее языке и станут разбираться во всех запутанных местных делах, которые обычно ставят в тупик новичков.

Норбер де Варен прервал его:

– Да... они будут знать все, кроме земледелия. Они будут говорить по-арабски, но так и не научатся сажать свеклу и сеять хлеб. Они будут весьма сильны в искусстве фехтования и весьма слабы по части удобрения полей. Нет, надо широко открыть двери в эту новую страну всем желающим. Для людей с умом там всегда найдется место, остальные погибнут. Таков закон нашего общества.

Наступило молчание. Все улыбались.

– Чего там недостает, так это хорошей земли, – с удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил Дюруа. – Плодородные участки стоят в Алжире столько же, сколько во Франции, и раскупают их парижские богачи, которые находят выгодным вкладывать в них капитал. Настоящих же колонистов, то есть бедняков, которых туда гонит нужда, оттесняют в пустыню, где нет воды и где ничего не растет.

Теперь все взоры были устремлены на него. Он чувствовал, что краснеет.

– Вы знаете Алжир? – спросил Вальтер.

– Да, – ответил он. – Я провел там два с лишним года и побывал во всех трех провинциях.

Норбер де Варен, сразу позабыв о Мореле, стал расспрашивать Дюруа о некоторых обычаях этой страны<sup>24</sup>, известных ему по рассказам одного офицера<sup>25</sup>. В частности, его интересовал Мзаб<sup>26</sup> – своеобразная маленькая арабская республика, возникшая посреди Сахары, в самой сухой части этого знойного края...

Дюруа дважды побывал в Мзабе, и теперь он охотно принялся описывать нравы этой удивительной местности, где капля воды ценится на вес золота, где каждый житель обязан

---

<sup>24</sup> ...стал расспрашивать Дюруа о некоторых обычаях этой страны... – Автобиографическая деталь: Мопассан был в Алжире в качестве корреспондента летом 1881 г.

<sup>25</sup> ...по рассказам одного офицера. – Одну из своих алжирских хроник Мопассан подписал «Офицер», так что в данном случае мы имеем дело с автоцитацией.

<sup>26</sup> Мзаб – территория, объединяющая группу оазисов на севере алжирской Сахары; главный город – Гардайя.

принимать участие в общественных работах и где торговля ведется честнее, чем у цивилизованных народов.

Вино и желание понравиться придали ему смелости, и он говорил с каким-то хвастливым увлечением; рассказывал полковые анекдоты, вспоминал случаи, происходившие на войне, воспроизводил отдельные черты арабского быта. Он употребил даже несколько красочных выражений для того, чтобы слушатели яснее представили себе эту желтую, голую и бесконечно унылую землю, опаленную всепожирающим пламенем солнца.

Дамы не сводили с него глаз. Г-жа Вальтер проговорила, растягивая, по своему обыкновению, слова:

– Из ваших воспоминаний мог бы выйти ряд прелестных очерков.

Старик Вальтер тотчас же взглянул на молодого человека поверх очков, как это он делал всякий раз, когда хотел получше рассмотреть чье-нибудь лицо. Кушанья он разглядывал из-под очков.

Форестье воспользовался моментом:

– Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Дюруа и просил назначить его моим помощником по добыванию политической информации. С тех пор как от нас ушел Марамбо, у меня нет никого, кто собирал бы срочные и секретные сведения, а от этого страдает газета.

Вальтер сделался серьезным и, приподняв очки, посмотрел Дюруа прямо в глаза.

– Ум у господина Дюруа, бесспорно, оригинальный, – сказал он. – Если ему будет угодно завтра в три часа побеседовать со мной, то мы это устроим. – Немного помолчав, он обратился непосредственно к Дюруа: – А пока что дайте нам два-три увлекательных очерка об Алжире. Поделитесь своими воспоминаниями и свяжите их с вопросом о колонизации, как это вы сделали сейчас. Они появятся вовремя, как раз вовремя, и я уверен, что читатели будут очень довольны. Но торопитесь! Первая статья должна быть у меня завтра, в крайнем случае – послезавтра: пока в палате еще не кончились прения, нам необходимо привлечь к ним внимание публики.

– А вот вам прелестное заглавие: «Воспоминания африканского стрелка», – добавила г-жа Вальтер с той очаровательной важностью, которая придавала оттенок снисходительности всему, что она говорила. – Не правда ли, господин Норбер?

Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и боялся начинающих. Он сухо ответил:

– Да, заглавие великолепное, при условии, однако, что и дальнейшее будет в том же стиле, а это самое трудное. Стиль – это все равно что верный тон в музыке.

Г-жа Форестье смотрела на Дюруа ласковым, покровительственным, понимающим взглядом, как бы говорившим: «Такие, как ты, своего добьются». Г-жа де Марель несколько раз поворачивалась в его сторону, и бриллиант в ее ухе беспрестанно дрожал, словно прозрачная капля воды, которая вот-вот сорвется и упадет.

Девочка сидела спокойно и чинно, склонив голову над тарелкой.

Лакей тем временем снова обошел вокруг стола и налил в голубые бокалы «иоганнисберг», после чего Форестье, поклонившись Вальтеру, предложил тост:

– За процветание «Французской жизни»!

Все кланялись патрону, он улыбался, а Дюруа, упоенный успехом, одним глотком осушил свой бокал. Ему казалось, что он мог бы выпить целую бочку, съесть целого быка, задушить льва. Он ощущал в себе сверхъестественную мощь и непреклонную решимость, он полон был самых радужных надежд. Он стал своим человеком в этом обществе, он завоевал себе положение, занял определенное место. Взгляд его с небывалой уверенностью останавливался на лицах, и наконец он осмелился обратиться к своей соседке:

– Какие у вас красивые серьги, сударыня, – я таких никогда не видел!

Она обернулась к нему с улыбкой:

– Это мне самой пришло в голову – подвесить бриллианты вот так, просто на золотой нитке. Можно подумать, что это росинки, правда?

Смущенный собственной дерзостью, боясь сказать глупость, он пробормотал:

– Прелестные серьги, а ваше ушко способно только украсить их.

Она поблагодарила его взглядом – одним из тех ясных женских взглядов, которые проникают в самое сердце.

Дюруа повернул голову и снова встретился глазами с г-жой Форестье: она смотрела на него все так же приветливо, но, как ему показалось, с оттенком лукавого задора и поощрения.

Мужчины говорили теперь все разом, размахивая руками и часто повышая голос: обсуждался грандиозный проект подземной железной дороги. Тема была исчерпана лишь к концу десерта, – каждому нашлось что сказать о медленности способов сообщения в Париже, о неудобствах конок, о непорядках в омнибусах и грубости извозчиков.

Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа, шутки ради, предложил руку девочке. Она величественно поблагодарила его и, привстав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера.

Гостиная снова напомнила ему оранжерею. Во всех углах комнаты высокие пальмы, изящно раскинув листья, тянулись до потолка и взметали каскадами свои широкие вершины.

По бокам камина круглые, как колонны, стволы каучуковых деревьев громоздили один на другой продолговатые темно-зеленые листья, а на фортепьяно стояли два каких-то неведомых кустика – розовый и белый; круглые, сплошь покрытые цветами, они казались искусственными, неправдоподобными, слишком красивыми для живых цветов.

Свежий воздух гостиной был напоен легким и нежным благоуханием, несказанным и неуловимым.

Дюруа почти совсем оправился от смущения, и теперь он мог внимательно осмотреть комнату. Комната была невелика: кроме растений, ничто не поражало в ней взгляда, в ней не было ничего особенно яркого, но вы чувствовали себя как дома, все располагало вас к отдыху, дышало покоем; она обволакивала вас своим уютом, она безотчетно нравилась, она окутывала тело чем-то мягким, как ласка.

Стены были обтянуты старинной бледно-лиловой материей, усеянной желтыми шелковыми цветочками величиною с муху. На дверях висели портьеры из серо-голубого солдатского сукна, на котором красным шелком были вышиты гвоздики. Расставленная как попало мебель разной формы и величины – шезлонги, огромные и совсем крошечные кресла, табуреты, пуфы – частью была обита шелковой материей в стиле Людовика XVI, частью – прекрасным утрехтским бархатом с гранатовыми разводами по желтоватому полю.

– Господин Дюруа, хотите кофе?

Все с той же дружелюбной улыбкой, не сходявшей с ее уст, г-жа Форестье протянула ему чашку.

– Да, сударыня, благодарю вас.

Дюруа взял чашку, и, пока он, с опаской наклонившись над сахарницей, которую подала ему девочка, доставал серебряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина успела шепнуть ему:

– Поухаживайте за госпожой Вальтер.

И прежде чем он успел ей что-нибудь ответить, удалилась.

Он поспешил выпить кофе, так как боялся пролить его на ковер, и, облегченно вздохнув, стал искать случая подойти к жене своего нового начальника и завязать с ней разговор.

Вдруг он заметил, что г-жа Вальтер, сидевшая далеко от столика, держит в руке пустую чашку и, видимо, не знает, куда ее поставить. Дюруа подскочил к ней:

– Разрешите, сударыня.

– Благодарю вас.

Он отнес чашку и сейчас же вернулся.

– Если бы вы знали, сударыня, сколько счастливых минут доставила мне «Французская жизнь», когда я был там, в пустыне! В самом деле, это единственная газета, которую можно читать за пределами Франции, именно потому, что она самая занимательная, самая остроумная и наиболее разнообразная из газет. В ней пишут обо всем.

Г-жа Вальтер улыбнулась холодной в своей учтивости улыбкой.

– Моему мужу стоило немалых трудов создать тип газеты, отвечающей современным требованиям, – заметила она с достоинством.

И они принялись беседовать. Дюруа умел поддерживать пошлый и непринужденный разговор; голос у него был приятный, взгляд в высшей степени обаятельный, а в усах таилось что-то неодолимо влекущее. Они вились над верхней губой, красивые, пушистые, пышные, золотистые, с рыжеватым отливом, который становился чуть светлее на топорщившихся концах.

Поговорили о Париже и его окрестностях, о берегах Сены, о летних развлечениях, о курортах – словом, о таких несложных вещах, о которых без малейшего напряжения можно болтать до бесконечности.

Когда же к ним подошел Норбер де Варен с рюмкой ликера в руке, Дюруа из скромности удалился.

Г-жа де Марель, окончив беседу с г-жой Форестье, подозвала его.

– Итак, вы намерены попытаться счастья в журналистике? – неожиданно спросила она.

Он ответил что-то неопределенное насчет своих намерений, а затем начал с ней тот же разговор, что и с г-жой Вальтер. Но теперь он лучше владел предметом и говорил увереннее, выдавая за свое то, что слышал недавно от других. При этом он все время смотрел ей в глаза, как бы желая придать глубокий смысл каждому своему слову.

Г-жа де Марель рассказала ему, в свою очередь, несколько анекдотов с той неподдельной живостью, какая свойственна женщине, знающей, что она остроумна, и желающей быть занимательной. Становясь все более развязной, она дотрагивалась до его рукава и, болтая о пустяках, внезапно понижала голос, отчего их беседа приобретала интимный характер. Близость молодой женщины, столь явно расположенной к нему, волновала его. Томимый желанием сию же минуту доказать ей свою преданность, от кого-то защитить ее, обнаружить перед ней свои лучшие качества, Дюруа каждый раз медлил с ответом, и эти заминки свидетельствовали о том, что мысли его заняты чем-то другим.

Вдруг, без всякого повода, г-жа де Марель позвала: «Лорина!» – и, когда девочка подошла, сказала ей:

– Сядь сюда, детка, ты простудишься у окна.

Дюруа безумно захотелось поцеловать девочку, словно что-то от этого поцелуя могло достаться на долю матери.

– Можно вас поцеловать, мадемуазель? – изысканно любезным и отечески ласковым тоном спросил он.

Девочка посмотрела на него с изумлением. Г-жа де Марель сказала смеясь:

– Отвечай: «Сегодня я вам разрешаю, сударь, но больше чтоб этого не было».

Дюруа сел и, взяв девочку на руки, прикоснулся губами к ее волнистым и мягким волосам.

Мать была поражена.

– Смотрите, она не убежала! Это что-то потрясающее! Обычно она позволяет себя целовать только женщинам. Вы неотразимы, господин Дюруа.

Он покраснел и молча принялся покачивать девочку на одном колене.

Г-жа Форестье подошла и ахнула от удивления:

– Что я вижу? Лорину приручили! Вот чудеса!

Жак Риваль, с сигарой во рту, направлялся к ним, и Дюруа, боясь одним каким-нибудь словом, сказанным невпопад, испортить все дело и сразу лишиться всего, что им было уже завоевано, встал и начал прощаться.

Он кланялся, осторожно пожимал женские ручки и энергично встряхивал руки мужчин. При этом он заметил, что сухая горячая рука Жака Риваля дружески ответила на его пожатие, что влажная и холодная рука Норбера де Варена проскользнула у него между пальцев, что у Вальтера рука холодная, вялая, безжизненная и невыразительная, а у Форестье – пухлая и теплая. Его приятель шепнул ему:

– Завтра в три часа, не забудь.

– Нет-нет, приду непременно.

Дюруа до того бурно переживал свою радость, что когда он очутился на лестнице, ему захотелось сбежать с нее, и, перепрыгивая через две ступеньки, он пустился вниз, но вдруг на площадке третьего этажа увидел в большом зеркале господина, вприпрыжку бежавшего к нему навстречу, и, устыдившись, остановился, словно его поймали на месте преступления.

Дюруа посмотрел на себя долгим взглядом, затем, придя в восторг от того, что он такой красавец, любезно улыбнулся своему отражению и отвесил ему на прощание, точно некоей важной особе, почтительный низкий поклон.

### III

На улице Жорж Дюруа погрузился в раздумье: он не знал, на что решиться. Ему хотелось бродить без цели по городу, мечтать, строить планы на будущее, дышать мягким ночным воздухом, но мысль о статьях для Вальтера неотступно преследовала его, и в конце концов он счел за благо вернуться домой и немедленно сесть за работу.

Скорым шагом двинулся он по кольцу внешних бульваров, а затем свернул на улицу Бурсо, на которой он жил. Семизэтажный дом, где он снимал комнату, был населен двумя десятками семей рабочих и мещан. Поднимаясь по лестнице и освещая восковыми свечками грязные ступеньки, усеянные очистками, окурками, клочками бумаги, он вместе с болезненным отвращением испытывал острое желание вырваться отсюда и поселиться там, где живут богатые люди, – в чистых, устланных коврами комнатах. Здесь же все было пропитано тяжелым запахом остатков пищи, отхожих мест и человеческого жилья, застарелым запахом пыли и плесени, запахом, который никакие сквозняки не могли выветрить.

Из окна его комнаты, находившейся на шестом этаже, открывался вид на огромную траншею Западной железной дороги, зиявшую, словно глубокая пропасть, там, где, кончался туннель, неподалеку от Батиньольского вокзала. Дюруа распахнул окно и облокотился на ржавый железный подоконник.

Три неподвижных красных сигнальных огня, напоминавших широко раскрытые глаза неведомого зверя, горели на дне этой темной ямы, за ними виднелись другие, а там еще и еще. Протяжные и короткие гудки ежеминутно проносились в ночи, то близкие, то далекие, едва уловимые, долетавшие со стороны Аньера. В их переливах было что-то похожее на переключку живых голосов. Один из них приближался, его жалобный вопль нарастал с каждым мгновением, и вскоре показался большой желтый фонарь, с оглушительным грохотом мчавшийся вперед. Дюруа видел, как длинная цепь вагонов исчезла в пасти туннеля.

– А ну, за работу! – сказал он себе, поставил лампу на стол и хотел было сесть писать, как вдруг обнаружил, что у него есть только почтовая бумага.

Что ж, придется развернуть лист в ширину и писать на почтовой. Он обмакнул перо и старательно, красивым почерком вывел заглавие:

## ВОСПОМИНАНИЯ АФРИКАНСКОГО СТРЕЛКА

Затем принялся обдумывать первую фразу.

Он сидел, подперев щеку ладонью и пристально глядя на лежавший перед ним чистый лист бумаги.

О чем писать? Он ничего не мог припомнить из того, что рассказывал за обедом, ни одного анекдота, ни одного факта, ничего. Вдруг ему пришла мысль: «Надо начать с отъезда». И он написал: «Это было в 1874 году, в середине мая, в то время, когда обессиленная Франция отдыхала от потрясений роковой годин<sup>27</sup>...»

Тут Дюруа остановился: он не знал, как связать это с дальнейшим – с отплытием, путешествием, первыми впечатлениями.

Минут десять спустя он решил отложить вступительную часть на завтра, а пока приняться за описание Алжира.

---

<sup>27</sup> ...в 1874 году.... когда... от потрясений роковой годины... – В 1874 г. маршал Франции граф Эдме Мак-Магон (1808–1893) был избран в президенты республики вопреки попыткам части депутатов восстановить в стране монархию.

«Алжир – город весь белый...» – написал он, но дальше этого дело не пошло. Память вновь нарисовала перед ним красивый чистенький городок, ручейками домов с плоскими кровлями сбегаящий по склону горы к морю, но он не находил слов, чтобы передать виденное и пережитое.

После долгих усилий он прибавил: «Часть его населения составляют арабы...» Потом швырнул перо и встал из-за стола.

На узкой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось его будничное платье, поношенное, измятое, скомканное, всем своим отвратительным видом напоминавшее отрепья из морга. А шелковый цилиндр, его единственный цилиндр, лежавший вверх дном на соломенном кресле, точно ждал, чтобы ему подали милостыню.

На обоях, серых, с голубыми букетами, пятен было столько же, сколько цветов, – застарелых, подозрительных пятен, о которых никто не мог бы сказать, что это такое: то ли раздавленные клопы, то ли капли масла; не то следы пальцев, жирных от помады, не то брызги мыльной пены из умывального таза. Все отзывалось унижительной нищетой, нищетой парижских меблированных комнат. И в душе у Дюруа поднялась злоба на свою бедность. Он почувствовал необходимость как можно скорее выбраться отсюда, завтра же покончить с этим жалким существованием.

Внезапно к нему вернулось рабочее настроение, и он, сев за стол, опять начал подыскивать такие слова, которые помогли бы ему воссоздать пленительное своеобразие Алжира, этого преддверия Африки с ее таинственными дебрями, Африки кочевых арабов и неизвестных негритянских племен, Африки неисследованной и манящей, откуда в наши городские сады изредка попадают неправдоподобные, будто явившиеся из мира сказок животные: невиданные куры, именуемые страусами; наделенные божественной грацией козы, именуемые газелями; поражающие своей уродливостью жирафы, величавые верблюды, чудовищные гиппопотамы, безобразные носороги и, наконец, страшные братья человека – гориллы.

Мысли, рождавшиеся у Дюруа, не отличались ясностью, – он сумел бы высказать их, пожалуй, но ему не удавалось выразить их на бумаге. В висках у него стучало, руки были влажны от пота, и, истерзанный этой лихорадкой бессилия, он снова встал из-за стола.

Тут ему попался на глаза счет от прачки, сегодня вечером принесенный швейцаром, и безысходная тоска охватила его. Радость исчезла вмиг – вместе с верой в себя и надеждой на будущее. Конечно, все кончено, он ничего не умеет делать, из него ничего не выйдет. Он казался себе человеком ничтожным, бездарным, обреченным, ненужным.

Он опять подошел к окну – как раз в тот момент, когда из туннеля с диким грохотом неожиданно вырвался поезд. Путь его лежал – через поля и равнины – к морю. И, провожая его глазами, Дюруа вспомнил своих родителей.

Да, поезд пройдет мимо них, всего в нескольких лье от их дома. Дюруа живо представил себе этот маленький домик на вершине холма, возвышающегося над Руаном и над широкой долиной Сены, при въезде в деревню Кантеле.

Родители Дюруа держали маленький кабачок, харчевню под вывеской «Красивый вид», куда жители руанского предместья ходили по воскресеньям завтракать. В расчете на то, что их сын со временем станет важным господином, они отдали его в коллеж. Окончив курс, но не сдав экзамена на бакалавра, Жорж Дюруа поступил на военную службу: он зараннее метил в офицеры, полковники, генералы. Но военная служба опостылела ему задолго до окончания пятилетнего срока, и он стал подумывать о карьере в Париже.

И вот, отбыв положенный срок, он приехал сюда, невзирая на просьбы родителей, которым хотелось теперь, чтобы он жил у них под крылышком, раз уж не суждено было осуществиться их заветной мечте. Он продолжал верить в свою звезду; перед ним смутно вырисовывалось его грядущее торжество – плод некоего стечения обстоятельств, которое сам же он, конечно, и подготовит и которым не преминет воспользоваться.

Гарнизонная служба благоприятствовала его сердечным делам; помимо легких побед, у него были связи с женщинами более высокого полета, – ему удалось соблазнить дочь податного инспектора, которая готова была бросить все и идти за ним, и жену поверенного, которая пыталась утопиться с горя, когда он ее покинул.

Товарищи говорили про него: «Хитрец, пройдоха, ловкач, – этот всегда выйдет сухим из воды». И он дал себе слово непременно стать хитрецом, пройдохой и ловкачом.

Его нормандская совесть, искушаемая повседневной гарнизонной жизнью с ее обычным в Африке мародерством, плутнями и незаконными доходами, впитавшая в себя вместе с патриотическими чувствами армейские понятия о чести, мелкое тщеславие и молодечество, наслушавшаяся рассказов об унтер-офицерских подвигах, превратилась в шкатулку с тройным дном, где можно было найти все, что угодно.

Но желание достичь своей цели преобладало.

Незаметно для себя Дюруа замечтался, как это бывало с ним ежевечерне. Ему представлялось необыкновенно удачное любовное похождение, благодаря которому разом сбудутся все его чаяния. Он встретится на улице с дочерью банкира или вельможи, покорит ее с первого взгляда и женится на ней.

Пронзительный гудок паровоза, выскочившего из туннеля, точно жирный кролик из своей норы, и на всех парах помчавшегося отдыхать в депо, вернул его к действительности.

И в тот же миг вечно теплившаяся в нем смутная и радостная надежда вновь окрылила его, и он – наугад, прямо в ночную темь – послал поцелуй любви желанной незнакомке, жаркий поцелуй вожаемой удаче. Потом закрыл окно и стал раздеваться. «Ничего, – подумал он, – утром я со свежими силами примусь за работу. Сейчас у меня голова не тем занята. Тем более я, кажется, выпил лишнее. Так работать нельзя».

Он лег, погасил лампу и почти сейчас же заснул.

Проснулся он рано, как всегда просыпаются люди, страстно ждущие чего-то или чем-нибудь озабоченные, и, спрыгнув с кровати, отворил окно, чтобы проглотить, как он выражался, чашку свежего воздуха.

Дома на Римской улице, блестевшие в лучах восходящего солнца по ту сторону широкой выемки, где проходила железная дорога, были точно выписаны матовым светом. Направо чуть виднелись холмы Аржантея, высоты Сануа и мельницы Оржемона, окутанные легкой голубоватой дымкой, которая напоминала прозрачную трепещущую вуаль, брошенную на горизонт.

Дюруа залюбовался открывшейся перед ним далью. «В такой день, как сегодня, там должно быть чертовски хорошо», – прошептал он. Затем, вспомнив, что надо приниматься за работу, и притом немедленно, позвал сына швейцара, дал ему десять су и послал в канцелярию сказать, что он болен.

Он сел за стол, обмакнул перо, подперся рукой и задумался. Но все его усилия были напрасны. Ему ничего не приходило в голову.

Однако он не унывал. «Ничего, – подумал он, – у меня просто нет навыка. Этому надо научиться, как всякому ремеслу. Кто-нибудь должен направить мои первые шаги. Схожу-ка я к Форестье, – он мне это в десять минут поставит на рельсы».

И он начал одеваться.

Выйдя на улицу, он сообразил, что сейчас нельзя идти к приятелю, – Форестье, наверное, встают поздно. Тогда он решил пройтись не спеша по внешним бульварам.

Еще не было девяти, когда он вошел в освеженный утреннею поливкой парк Монсо.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Парк Монсо – был разбит в конце XVIII в. для Филиппа Эгалите (1747–1793), сына Луи Филиппа Орлеанского (1725–1785), архитектором Луи Кармонтеlem (1717–1806); в 1852 г. стал собственностью государства, превратившись в одно из излюбленных мест прогулок парижан.

Он сел на скамейку и снова отдался своим мечтам. Поодаль ходил взад-вперед весьма элегантный молодой человек, по всей вероятности, поджидавший женщину.

И она наконец появилась, в шляпе с опущенной вуалью, торопливым шагом подошла к нему, обменялась с ним быстрым рукопожатием, потом взяла его под руку, и они удалились.

Нестерпимая жажда любви охватила Дюруа, – жажда благоуханных, изысканных, утонченных любовных переживаний. Он встал и двинулся дальше, думая о Форестье. Вот кому повезло!

Он подошел к подъезду в тот самый момент, когда его приятель выходил из дому.

– А, это ты? Так рано? Что у тебя такое?

Дюруа, смущенный тем, что встретил его уже на улице, стал мямлить:

– Да вот... да вот... Ничего у меня не выходит со статьей, со статьей об Алжире, – помнишь, которую мне заказал господин Вальтер? Это неудивительно, ведь я никогда не писал. Здесь тоже нужна сноровка, как и во всяком деле. Я скоро набью себе руку, в этом я не сомневаюсь, но я не знаю, с чего начать, как приступить. Мыслей у меня много, сколько угодно, а выразить их мне не удастся.

Он смешался и умолк. Форестье, лукаво улыбаясь, смотрел на него.

– Это мне знакомо.

– Да, через это, я думаю, все должны пройти, – подхватил Дюруа. – Так вот, я к тебе с просьбой... с просьбой помочь моему горю... Ты мне это в десять минут поставишь на рельсы, покажешь, с какой стороны за это браться. Это был бы для меня великолепный урок стилистики, а одному мне не справиться.

Форестье по-прежнему весело улыбался. Он хлопнул своего старого товарища по плечу и сказал:

– Ступай к моей жене, она это сделает не хуже меня. Я ее поднатаскал. У меня утро занято, а то бы я с удовольствием тебе помог.

Дюруа внезапно оробел; он колебался, он не знал, как быть.

– Но не могу же я явиться к ней в такой ранний час!

– Отлично можешь. Она уже встала. Сидит у меня в кабинете и приводит в порядок мои заметки.

Дюруа все еще не решался войти в дом.

– Нет... это невозможно...

Форестье взял его за плечи и, повернув, толкнул к двери.

– Да иди же, чудака, говорят тебе, иди! Я не намерен лезть на четвертый этаж, вести тебя к ней и излагать твою просьбу.

Наконец Дюруа набрался смелости.

– Ну, спасибо, я пойду. Скажу, что ты силой, буквально силой, заставил меня обратиться к ней.

– Да-да. Она тебя не съест, будь спокоен. Главное, не забудь: ровно в три часа.

– Нет-нет, не забуду.

Форестье с деловым видом зашагал по улице, а Дюруа, обеспокоенный тем, как его примут, стал медленно, ступенька за ступенькой, подниматься на четвертый этаж, думая о том, с чего начать разговор.

Дверь открыл слуга. На нем был синий фартук, в руке он держал половую щетку.

– Господина Форестье нет дома, – не дожидаясь вопроса, объявил он.

– Спросите госпожу Форестье, может ли она меня принять, – настаивал Дюруа, – скажите, что меня направил к ней ее муж, которого я встретил сейчас на улице.

Он стал ждать ответа. Слуга вернулся и, отворив дверь направо, сказал:

– Госпожа Форестье ждет вас.

Она сидела в кресле за письменным столом, в небольшой комнате, стены которой были сплошь закрыты книгами, аккуратно расставленными на полках черного дерева. Корешки всех цветов – красные, желтые, зеленые, лиловые, голубые – скрашивали и оживляли однообразные шеренги томов.

Улыбаясь своей обычной улыбкой, г-жа Форестье обернулась и протянула ему руку, которую он мог рассмотреть чуть не до плеча, – так широк был рукав ее белого, отделанного кружевами пеньюара.

– Что так рано? – спросила она и добавила: – Это не упрек, это всего только вопрос.

– Сударыня, – пробормотал он, – я не хотел идти, но ваш муж, которого я встретил внизу, заставил меня подняться наверх. Мне до того неловко, что я даже не решаюсь сказать, зачем я пришел.

Г-жа Форестье показала рукой на стул:

– Садитесь и рассказывайте.

В руке у нее было гусиное перо, которое она ловко вертела двумя пальцами. Перед ней лежал большой, наполовину исписанный лист бумаги, свидетельствовавший о том, что Дюруа помешал ей работать.

Видно было, что ей очень хорошо за этим рабочим столом, что она чувствует себя здесь так же свободно, как в гостиной, что она занята привычным делом. От ее пеньюара исходил легкий и свежий аромат только что законченного туалета. Дюруа пытался представить себе и как будто уже видел перед собой ее молодое, чистое, сытое и теплое тело, бережно прикрываемое мягкой тканью.

– Ну так скажите же, в чем дело? – видя, что Дюруа не решается заговорить, спросила она.

– Видите ли... – начал он в замешательстве. – Право, мне неудобно... Дело в том, что вчера я сидел до поздней ночи... и сегодня... с самого утра... все писал статью об Алжире, которую у меня просил господин Вальтер... Но у меня ничего не выходит... Я разорвал все черновики... Мне это дело незнакомо, и я попросил Форестье... на этот раз прийти мне на помощь...

Довольная, веселая и польщенная, смеясь от души, она прервала его:

– А он послал вас ко мне?.. Как это мило с его стороны...

– Да, сударыня. Он сказал, что вы еще лучше сумеете выручить меня из беды... А я не хотел, не решался. Вы меня понимаете?

Она встала.

– Такое сотрудничество обещает быть очень приятным. Я в восторге от вашей идеи. Вот что: садитесь-ка на мое место, а то в редакции знают мой почерк. Сейчас мы с вами сочиним статью, да еще какую! Успех обеспечен.

Он сел, взял перо, положил перед собой лист бумаги и приготовился писать.

Г-жа Форестье стоя следила за всеми его движениями, потом достала с камина папиросу и закурила.

– Не могу работать без папиросы<sup>29</sup>, – сказала она. – Итак, о чем же вы намерены рассказать?

Дюруа вскинул на нее удивленные глаза.

– Этого-то я и не знаю, потому-то я и пришел к вам.

– Ну хорошо, я вам помогу. Соус я берусь приготовить, но мне необходимо самое блюдо.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Не могу работать без папиросы...* – В эпоху, описываемую в романе, курение женщины воспринималась двояко: как признак эмансипированности и дурного тона.

<sup>30</sup> *Соус я берусь приготовить...* – Под «соусом», о котором говорит Мадлен, подразумевается репортерский стиль, принятый, в частности, в газете «Жиль Блаз», где работал Мопассан. В одной из опубликованных там статей он перечисляет

Дюруа растерялся.

– Я хотел бы описать свое путешествие с самого начала... – робко проговорил он.

Она села против него, по ту сторону большого стола, и, глядя ему в глаза, сказала:

– В таком случае опишите его сперва мне, мне одной – понимаете? – не торопясь, ничего не пропуская, а уж я сама выберу то, что нужно.

Дюруа не знал, с чего начать, – тогда она стала расспрашивать его, как священник на исповеди; она задавала точно сформулированные вопросы, и в памяти его всплывали забытые подробности, встречи, лица, которые он видел мельком.

Так проговорил он около четверти часа, потом она неожиданно перебила его:

– А теперь начнем. Представим себе, что вы делитесь впечатлениями с вашим другом: это даст вам возможность болтать всякий вздор, попутно делать разного рода замечания, быть естественным и забавным, насколько нам это удастся. Пишите:

«Дорогой Анри, ты хочешь знать, что такое Алжир<sup>31</sup>? Изволь, ты это узнаешь. От нечего делать я решил посылать тебе из убогой мазанки, в которой я обретаюсь, нечто вроде дневника, где буду описывать свою жизнь день за днем, час за часом. Порой он покажется тебе грубоватым, – что ж, ведь ты не обязан показывать его знакомым дамам...»

Она остановилась, чтобы зажечь потухшую папиросу, и тихий скрип гусиного пера тотчас же прекратился.

– Давайте дальше, – сказала она.

«Алжир – это обширное французское владение, расположенное на границе огромных, неисследованных стран, именуемых пустыней Сахарой, Центральной Африкой и так далее.

Алжир – это ворота, прекрасные белые ворота необыкновенного материка.

Но сперва надо до них добраться, а это не всякому способно доставить удовольствие. Наездник я, как тебе известно, превосходный, я объезжаю лошадей для самого полковника. Однако можно быть хорошим кавалеристом и плохим моряком. Это я проверил на опыте.

Помнишь ли ты полкового врача Сембрета, которого мы прозвали доктором Блево? Когда нам до смерти хотелось отдохнуть сутки в госпитале, в этой земле обетованной, мы отправлялись к нему на прием.

Как сейчас вижу его красные штаны, его жирные ляжки; вот он сидит на стуле, расставив ноги, упираясь кулаками в колени, – руки дугой, локти на отлете, – вращает круглыми рачьими глазами и покусывает седые усы.

Помнишь его предписания:

– У этого солдата расстройство желудка. Дать ему рвотного номер три по моему рецепту, затем двенадцать часов полного покоя, и он выздоровеет.

Рвотное это представляло собой сильно действующее, магическое средство. Мы все же принимали его, – другого выхода не было. Зато потом, отведав снадобья доктора Блево, мы наслаждались вполне заслуженным двенадцатичасовым отдыхом.

Так вот, милый мой, чтобы попасть в Африку, приходится в течение сорока часов испытывать на себе действие другого, столь же могущественного рвотного, составленного по рецепту Трансатлантической пароходной компании».

Г-жа Форестье потирала руки от удовольствия.

Она встала, закурила вторую папиросу, а затем снова начала диктовать, расхаживая по комнате и выпуская сквозь маленькое круглое отверстие между сжатыми губами струйки дыма, которые сперва поднимались столбиками, но постепенно расплзались, расплывались, кое-где оставляя прозрачные хлопья тумана, тонкие серые нити, похожие на паутину.

---

требования, предъявляемые к хроникерам: «больше яркости, чем глубины; остроумие должно преобладать... над описаниями, веселость – над рассуждениями».

<sup>31</sup> «Дорогой Анри, ты хочешь знать...» – пример самопародии у Мопассана, который начинал свою новеллу «Маррока» словами: «Мой друг, ты просил меня описать мои впечатления...» (опубликовано в газете «Жиль Блаз» в 1882 г.).

Время от времени она стирала ладонью эти легкие, но упорные штрихи или рассекала их указательным пальцем и задумчиво смотрела, как исчезает в воздухе перерезанное надвое медлительное волокно еле заметного пара.

Дюруа между тем следил за всеми ее жестами, позами, – он не отрывал глаз от ее лица и тела, вовлеченных в эту пустую игру, которая, однако, не поглощала ее мыслей.

Теперь она придумывала дорожные приключения, набрасывала портреты вымышленных спутников и намечала интрижку с женою пехотного капитана, ехавшей к своему мужу.

Потом села и начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира, о которой не имела ни малейшего представления. Через десять минут она знала ее не хуже Дюруа и могла продиктовать ему целую главку, содержащую в себе политико-экономический очерк Алжира и облегчавшую читателям понимание тех сложных вопросов, которые должны были быть затронуты в следующих номерах.

Очерк сменился походом в провинцию Оран – походом, разумеется, воображаемым: тут речь шла преимущественно о женщинах – мавританках, еврейках, испанках.

– Читателей только это и интересует, – пояснила г-жа Форестье.

Закончила она стоянкой в Сайде, у подножия высоких плоскогорий, и поэтичным, но недолгим романом унтер-офицера Жоржа Дюруа с одной испанкой, работницей аинэльхад-жарской фабрики, где обрабатывалась альфа<sup>32</sup>. Она описывала их ночные свидания среди голых скалистых гор, оглашаемых лаем собак, рычанием гиен и воем шакалов.

– Продолжение завтра<sup>33</sup>! – весело сказала г-жа Форестье и, поднимаясь со стула, добавила: – Вот как пишутся статьи, милостивый государь. Соболаговолите поставить свою подпись.

Дюруа колебался.

– Да подпишитесь же!

Он засмеялся и написал внизу страницы: «Жорж Дюруа».

Она опять начала ходить с папиросой по комнате, а он, полный благодарности, все смотрел на нее и, не находя слов, чтобы выразить ей свою признательность, радуясь тому, что она тут, подле него, испытывал чувственное наслаждение – наслаждение, которое доставляла ему растущая близость их отношений. Ему казалось, что все окружающее составляет часть ее самой, все, даже закрытые книгами стены. В убранстве комнаты, в запахе табака, носившемся в воздухе, было что-то неповторимое, приятное, милое, очаровательное, именно то, чем веяло от нее.

– Какого вы мнения о моей подруге, госпоже де Марель? – неожиданно спросила она.

Дюруа был озадачен этим вопросом.

– Как вам сказать... я нахожу, что она... обворожительна.

– Да?

– Ну конечно.

Он хотел добавить: «А вы еще обворожительнее», – но постеснялся.

– Если б вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная! – продолжала г-жа Форестье. – Богема, да-да, настоящая богема. За это ее и не любит муж. Он видит в ней одни недостатки и не ценит достоинств.

Дюруа показалось странным, что г-жа де Марель замужем. В этом не было, однако, ничего удивительного.

– Так, значит... она замужем? – спросил он. – А что представляет собой ее муж?

---

<sup>32</sup> Альфа – вид ковыля в степях Северной Африки, волокна которого идут на изготовление плетеных изделий и бумаги.

<sup>33</sup> *Продолжение завтра!* – Традиционная формула, которой завершались фельетоны (произведения, публикуемые частями) в ежедневных газетах.

Г-жа Форестье слегка повела плечами и бровями, – в этом ее выразительном двойном движении скрывался какой-то неуловимый намек.

– Он ревизор Северной железной дороги. Каждый месяц приезжает на неделю в Париж. Его жена называет это своей повинностью, барщиной, страстной неделей. Когда вы познакомитесь с ней поближе, вы увидите, какая это остроумная и милая женщина. Навестите ее как-нибудь на днях.

Дюруа забыл, что ему пора уходить, – ему казалось, что он останется здесь навсегда, что он у себя дома.

Но вдруг бесшумно отворилась дверь, и какой-то высокий господин вошел без доклада.

Увидев незнакомого мужчину, он остановился. Г-жа Форестье на мгновение как будто смутилась, а затем, хотя легкая краска все еще прилиwała у нее от шеи к лицу, обычным своим голосом проговорила:

– Входите же, дорогой друг, входите! Позвольте вам представить старого товарища Шарля, господина Дюруа, будущего журналиста. – И уже другим тоном: – Лучший и самый близкий наш друг – граф де Водрек.

Мужчины раскланялись, посмотрели друг на друга в упор, и Дюруа сейчас же начал прощаться.

Его не удерживали. Бормоча слова благодарности, он пожал г-же Форестье руку, еще раз поклонился гостю, хранившему равнодушный и чопорный вид светского человека, и вышел сконфуженный, точно сделал какой-то досадный промах.

На улице ему почему-то стало грустно, тоскливо, не по себе. Он шел наугад, стараясь постичь, откуда взялась эта внезапная смутная тоска. Он не находил ей объяснения, но в памяти его все время вставало строгое лицо графа де Водрека, уже немолодого, седоволосого, с надменным и спокойным взглядом очень богатого, знающего себе цену господина.

Наконец он понял, что именно появление этого незнакомца, нарушившего милую беседу с г-жой Форестье, с которой он уже чувствовал себя так просто, и породило в нем то ощущение холода и безнадежности, какое порой вызывает в нас чужое горе, кем-нибудь невзначай оброненное слово, любой пустяк.

И еще показалось ему, что этот человек тоже почему-то был неприятно удивлен, встретив его у г-жи Форестье.

До трех часов ему нечего было делать, а еще не пробило двенадцати. В кармане у него оставалось шесть с половиной франков, и он отправился завтракать к Дювалю<sup>34</sup>. Затем побродил по бульварам и ровно в три часа поднялся по парадной лестнице в редакцию «Французской жизни».

Рассыльные, скрестив руки, в ожидании поручений сидели на скамейке, а за конторкой, похожей на кафедру, разбирал только что полученную почту швейцар. Эта безупречная мизансцена должна была производить впечатление на посетителей. Служащие держали себя с достоинством, с шиком, как подобает держать себя в прихожей влиятельной газеты, каждый из них поражал входящего величием своей осанки и позы.

– Можно видеть господина Вальтера? – спросил Дюруа.

– У господина издателя совещание, – ответил швейцар. – Будьте любезны подождать.

И он указал на переполненную приемную.

Тут были важные, сановитые господа, увешанные орденами, и бедно одетые люди в застегнутых доверху сюртуках, тщательно закрывавших сорочку и усеянных пятнами, которые своими очертаниями напоминали материки и моря на географических картах. Среди ожидающих находились три дамы. Одна из них, хорошенькая, улыбающаяся, нарядная,

---

<sup>34</sup> ...отправился завтракать к Дювалю. – Имеется в виду один из двенадцати дешевых ресторанов, первоначально принадлежавших Пьеру Анри Дювалю (1811–1870), в которых подавались преимущественно бульон и вареная говядина.

имела вид кокотки. В ее соседке, женщине с морщинистым трагическим лицом, одетой скромно, хотя и столь же нарядно, было что-то от бывшей актрисы, что-то искусственное, изжитое, пахнувшее прогорклой любовью, поддельной, линияло молодостью.

Третья женщина, носившая траур, в позе неутешной вдовы сидела в углу. Дюруа решил, что она явилась просить пособия.

Прием все еще не начинался, хотя прошло больше двадцати минут.

Дюруа вдруг осенило, и он опять подошел к швейцару.

– Господин Вальтер назначил мне прийти в три часа, – сказал он. – Посмотрите на всякий случай, нет ли тут моего друга Форестье.

Его сейчас же провели по длинному коридору в большой зал, где четыре господина что-то писали, расположившись за широким зеленым столом.

Форестье, стоя у камина, курил папиросу и играл в бильбоке<sup>35</sup>. Играл он отлично и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на маленький деревянный шпенек.

– Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, – считал он.

– Двадцать шесть, – сказал Дюруа.

Форестье, не прерывая размеренных взмахов руки, взглянул на него:

– А, это ты? Вчера я выбил пятьдесят семь подряд. После Сен-Потена я здесь самый сильный игрок. Ты видел патрона? Нет ничего уморительнее этой старой крысы Норбера, когда он играет в бильбоке. Он так разевает рот, словно хочет проглотить шар.

Один из сотрудников обратился к нему:

– Слушай, Форестье, я знаю, где продается великолепное бильбоке черного дерева. Говорят, оно принадлежало испанской королеве. Прсят шестьдесят франков. Это недорого.

– Где это? – спросил Форестье.

Прوماхнувшись на тридцать седьмом ударе, он открыл шкаф, и в этом шкафу Дюруа увидел штук двадцать изумительных бильбоке, перенумерованных, расставленных в строгом порядке, словно диковинные безделушки в какой-нибудь коллекции. Форестье поставил свое бильбоке на место и еще раз спросил:

– Где же хранится эта драгоценность?

– У барышника, который продает билеты в Водевиль, – ответил журналист. – Могу тебе завтра принести, если хочешь.

– Принеси. Если хорошее – я возьму; лишнее бильбоке никогда не помешает. – Затем он обратился к Дюруа: – Пойдем со мной, я проведу тебя к патрону, а то проторчишь тут до семи вечера.

В приемной все сидели на прежних местах. Увидев Форестье, молодая женщина и старая актриса поспешно встали и подошли к нему.

Форестье по очереди отводил их к окну, и, хотя все трое старались говорить тихо, Дюруа заметил, что он и той и другой говорил «ты».

Наконец Форестье и Дюруа вошли в кабинет издателя, куда вела двойная обитая дверь.

Под видом совещания Вальтер и кое-кто из тех господ в цилиндрах с плоскими полями, которых Дюруа видел накануне, уже целый час играли в экарте.<sup>36</sup>

Напряженное внимание, с каким издатель рассматривал свои карты, и вкрадчивость его движений составляли контраст с той ловкостью, гибкостью, грацией опытного игрока, с какою бил, сдавал, манипулировал легкими цветными листиками картона его партнер. Норбер де Варен писал статью, сидя в кресле, в котором обычно сидел издатель, а Жак Риваль растянулся во весь рост на диване и, зажмурив глаза, курил сигару.

---

<sup>35</sup> *Бильбоке* – модная в 1880-е гг. игра привязанным к палочке шаром, который подбрасывается и ловится на острие или в чашечку. В переносном значении бильбоке – человек, умеющий выпутаться из любого положения.

<sup>36</sup> *Экарте* – карточная игра, рассчитанная на двух человек; название происходит от одного из значений слова *ecarter* (фр.) – сбрасывать карты.

Спертый воздух кабинета был пропитан запахом кожаных кресел, въедливым запахом табачного дыма и типографской краски – специфическим запахом редакции, хорошо знакомым каждому журналисту.

На столе черного дерева с медными инкрустациями высилась чудовищная груда писем, визитных карточек, счетов, журналов, газет и всевозможных печатных изданий.

Форестье молча пожал руку зрителям, которые, стоя за стульями партнеров, держали между собою пари, и принялся следить за игрой. Как только Вальтер выиграл партию, он обратился к нему:

– Вот мой друг Дюруа.

– Принесли статью? – бросив на молодого человека быстрый взгляд поверх очков, спросил издатель. – Это было бы весьма кстати именно сегодня, пока еще идут прения по запросу Мореля.

Дюруа вынул из кармана вчетверо сложенные листки.

– Вот, пожалуйста.

Лицо патрона выразило удовольствие.

– Отлично, отлично, – улыбаясь, сказал он. – Вы держите слово. Надо мне это просматривать, Форестье?

– Не стоит, господин Вальтер, – поспешил ответить Форестье. – Мы с ним писали вместе, – надо было показать ему, как это делается. Получилась очень хорошая статья.

– Ну и прекрасно, – равнодушно заметил издатель, разбирая карты, которые сдавал высокий худой господин, депутат левого центра.

Однако Форестье не дал Вальтеру начать новую партию.

– Вы обещали мне взять Дюруа на место Марамбо, – нагнувшись к самому его уху, шепнул он. – Разрешите принять его на тех же условиях?

– Да, конечно.

Игра возобновилась, и журналист, взяв своего приятеля под руку, повел его к выходу.

Норбер де Варен не поднял головы: по-видимому, он не заметил или не узнал Дюруа. Жак Риваль, напротив, нарочито крепко пожал ему руку, с подчеркнутой благожелательностью прекрасного товарища, на которого можно положиться во всех случаях жизни.

Когда Форестье и Дюруа снова появились в приемной, посетители впились в них глазами, и журналист громко, чтобы его слышали все, сказал, обращаясь к самой молодой из женщин:

– Издатель примет вас очень скоро. У него совещание с двумя членами бюджетной комиссии.

И сейчас же проследовал дальше с таким независимым и озабоченным видом, как будто его ожидали дела государственной важности.

Вернувшись в редакционный зал, Форестье тотчас же взялся за бильбоке и, прерывая свою речь счетом ударов, заговорил:

– Так вот. Ты будешь приходить сюда ежедневно к трем часам, я буду посылать тебя за информацией, и ты будешь ее добывать – иногда днем, иногда вечером, иногда утром. Раз! Прежде всего я дам тебе рекомендательное письмо к начальнику первого отдела полицейской префектуры, – два! – а он направит тебя к одному из своих подчиненных. С ним ты условишься о получении всех важных сведений, – три! – сведений официального и, само собой разумеется, полуофициального характера. Подробности можешь узнать у Сен-Потена, он в курсе дела, – четыре! – дождись его или поговори с ним завтра. Главное, научись вытягивать из людей, к которым я буду тебя посылать, все, что возможно – пять! – и пролезать всюду, даже через закрытые двери, – шесть! За это ты будешь получать двести франков в месяц жалованья и по два су за строчку интересной хроники, которую ты сумеешь доста-

вить, – семь! Кроме того, по заказу редакции ты будешь писать разные статейки – тоже по два су за строчку, – восемь!

Затем он весь ушел в свою игру и медленно продолжал считать:

– Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

На четырнадцатом журналист промахнулся.

– Опять тринадцать, черт бы его побрал! – проворчал он. – Проклятое число! Вечно оно приносит мне несчастье. И умру-то я, наверно, тринадцатого.

Один из сотрудников, кончив работу, вынул из шкафа свое бильбоке; ему было тридцать пять лет, но крошечный рост делал его похожим на ребенка. Вошли еще несколько журналистов, и каждый из них взял по игрушке. Вскоре играло уже шестеро: они стояли рядом, спиной к стене, и одинаковым мерным движением подбрасывали шары, красные, желтые или черные – в зависимости от породы дерева. Как только игра перешла в состязание, два сотрудника, прервав работу, предложили свои услуги в качестве судей.

Форестье выбил на одиннадцать очков больше других. Человечек, похожий на ребенка, проиграл; он позвонил рассыльному и, когда тот явился, сказал ему:

– Девять кружек пива.

В ожидании прохладительного все опять принялись за игру.

Дюруа, выпив со своими новыми сослуживцами пива, спросил Форестье:

– Что я должен делать?

– Сегодня ты свободен, – ответил тот. – Если хочешь, можешь идти.

– А наша... наша статья... пойдет сегодня вечером?

– Да, корректуру я выправлю сам, не беспокойся. Приготовь к завтрашнему дню продолжение и приходи в три часа, как сегодня.

Дюруа попрощался со всеми этими людьми за руку, хотя и не знал даже, как их зовут, а затем, ликующий и счастливый, спустился вниз по роскошной лестнице.

## IV

Жорж Дюруа плохо спал: ему не терпелось увидеть свою статью напечатанной. С рассветом он был уже на ногах и вышел из дому задолго до того, как газетчики начинают бегать от киоска к киоску.

Он направился к вокзалу Сен-Лазар, так как знал наверняка, что «Французская жизнь» появляется там раньше, чем в его квартале. Но было еще очень рано, и, дойдя до вокзала, он стал расхаживать по тротуару.

Он видел, как пришла продавщица и открыла свою застекленную будку, затем появился человек с кипой сложенных вдвое газетных листов на голове. Дюруа бросился к нему, но это были «Фигаро», «Жиль Блаз», «Голуа», «Новости дня»<sup>37</sup> и еще две-три газеты. «Французской жизни» у него не оказалось.

Дюруа забеспокоился. Что, если «Воспоминания африканского стрелка» отложены на завтра? А вдруг в последнюю минуту статью не пропустил старик Вальтер?

Возвращаясь обратно, Дюруа увидел, что газету уже продают, а он и не заметил, как ее принесли. Он подскочил к киоску, бросил три су и, развернув газету, просмотрел заголовки на первой странице. Ничего похожего! У него сильно забилося сердце. Он перевернул страницу и, глубоко взволнованный, прочел под одним из столбцов жирным шрифтом напечатанную подпись: «Жорж Дюруа». Поместили! Какое счастье!

Он шел, ни о чем не думая, в шляпе набекрень, с газетой в руке, и его подмывало остановить первого встречного только для того, чтобы сказать ему: «Купите эту газету, купите эту газету! Здесь есть моя статья». Он готов был кричать во все горло, как кричат по вечерам на бульварах: «Читайте „Французскую жизнь“, читайте статью Жоржа Дюруа „Воспоминания африканского стрелка“». Ему вдруг захотелось самому прочесть свою статью, прочитать в общественном месте, в кафе, у всех на виду. И он стал искать такой ресторан, где были бы уже посетители. Ему пришлось долго бродить по городу. Наконец он нашел что-то вроде винного погребка, где было довольно много народу, сел за столик и потребовал рому, — он мог бы потребовать и абсента, так как утратил всякое представление о времени.

— Гарсон, дайте мне «Французскую жизнь»! — крикнул он.

Подбежал гарсон в белом переднике.

— У нас нет такой газеты, сударь, мы получаем «Призыв», «Век», «Светоч» и «Парижский листок».<sup>38</sup>

Дюруа был возмущен.

— Ну и заведеньице же у вас! — сказал он со злостью. — В таком случае подите купите мне «Французскую жизнь».

Гарсон сбегал за газетой. Чтобы привлечь внимание соседей и внушить им желание узнать, что в ней есть интересного, Дюруа, читая свою статью, время от времени восклицал:

<sup>37</sup> ...это были «Фигаро», «Жиль Блаз», «Голуа», «Новости дня»... — Кроме вымышленной газеты «Французская жизнь» (см. примеч. к с. 213), Мопассан перечисляет действительно существовавшие издания: газету «Фигаро», основанную в 1854 г. и придерживавшуюся в 1880-е гг. республиканского направления; литературную газету «Жиль Блаз» (основана в 1879 г.), печатавшую, помимо беллетристики, светскую хронику и хронику парижских бульваров; консервативную газету «Голуа» (основана в 1868 г.) с ярко выраженными монархическими тенденциями, а также газету Виктора Гюго (1802–1885) «Новости дня» (точнее — «Событие», в оригинале «L'Evenement»), либеральной ориентации.

<sup>38</sup> ...мы получаем «Призыв», «Век», «Светоч» и «Парижский листок». — Имеются в виду газеты: «Призыв» («Le Rappel», основана в 1869 г.) революционного направления; левый республиканский ежедневник с антиклерикальной направленностью «Век» («Le siècle», основан в 1836 г.); газета «Светоч» («La Lanterne», издавалась с 1876 г.); радикальный ежедневник «Парижский листок» («Le Petit Parisien», основан в 1876 г.). Все они издавались большим тиражом и имели широкое распространение, что и хочет подчеркнуть Мопассан, противопоставляя их «Французской жизни» с ее установкой на элитность, сплетни и «политическое трюкачество».

– Отлично! Отлично!

Уходя, он оставил газету на столике. Хозяин, заметив это, окликнул его:

– Сударь, сударь, вы забыли газету!

– Пусть она останется у вас, я ее уже прочитал, – ответил Дюруа. – Между прочим, там есть одна очень любопытная статья.

Он не сказал, какая именно, но, уходя, заметил, что один из посетителей взял с его столика «Французскую жизнь».

«Чем бы мне теперь заняться?» – подумал Дюруа и решил пойти в свою канцелярию получить жалованье за месяц и заявить об уходе. Он затрепетал от восторга, представив себе, как вытянутся лица у начальника и сослуживцев. Особенно радовала его мысль ошарашить начальника.

Он шел медленно; касса открывалась в десять, раньше половины десятого не имело смысла являться.

Канцелярия занимала большую темную комнату, – зимой здесь целый день горел газ. Окна ее выходили на узкий двор и упирались в окна других канцелярий. В одной этой комнате помещалось восемь служащих, а в углу, за ширмой, сидел помощник начальника.

Дюруа сперва получил свои сто восемнадцать франков двадцать пять сантимов, вложенные в желтый конверт, хранившийся в ящике у кассира, а затем с победоносным видом вошел в просторную канцелярию, в которой провел столько дней.

Помощник начальника, г-н Потель, крикнул ему из-за ширмы:

– А, это вы, господин Дюруа? Начальник уже несколько раз о вас спрашивался. Вы знаете, что он не разрешает болеть два дня подряд без удостоверения от врача.

Дюруа для пущего эффекта остановился посреди комнаты.

– Мне, собственно, на это наплевать! – заявил он во всеуслышание.

Чиновники обмерли; из-за ширмы выглянула испуганная физиономия г-на Потеля. В этой своей коробке он спасался от сквозняков: он страдал ревматизмом. А чтобы следить за подчиненными, он проделал в бумаге две дырочки.

Было слышно, как пролетит муха.

– Что вы сказали? – нерешительно спросил наконец помощник начальника.

– Я сказал, что мне, собственно, наплевать. Я пришел только для того, чтобы заявить об уходе. Я поступил сотрудником в редакцию «Французской жизни» на пятьсот франков в месяц, не считая построчных. В сегодняшнем номере уже напечатана моя статья.

Он хотел продлить удовольствие, но не удержался и выпалил все сразу.

Эффект, впрочем, был полный. Все окаменели.

– Я сейчас скажу об этом господину Пертюи, – добавил Дюруа, – а потом зайду попрощаться с вами.

Не успел он войти к начальнику, как тот обрушился на него с криком:

– А, изволили явиться? Вам известно, что я терпеть не могу...

– Нечего горло-то драть, – прервал своего начальника подчиненный.

Г-н Пертюи, толстый, красный, как петушиный гребень, поперхнулся от изумления.

– Мне осточертела ваша лавочка, – продолжал Дюруа. – Сегодня я впервые выступил на поприще журналистики, мне дали прекрасное место. Честь имею кланяться.

С этими словами он удалился. Он отомстил.

Он вернулся в канцелярию, как обещал, и пожал руку бывшим своим сослуживцам, но они, боясь скомпрометировать себя, не сказали с ним и двух слов, – через отворенную дверь им слышен был его разговор с начальником.

С жалованьем в кармане Дюруа вышел на улицу. Плотнo и вкусно позавтракав в уже знакомом ему хорошем и недорогом ресторане, купив еще один номер «Французской жизни» и оставив его на столике, он обошел несколько магазинов и накупил всякой всячины; безде-

лушки эти были ему совсем не нужны, но он испытывал особое удовольствие, приказывая доставить их к себе на квартиру и называя свое имя: «Жорж Дюруа». При этом он добавлял: «Сотрудник „Французской жизни“».

Однако, указав улицу и номер дома, он не забывал предупредить:

– Покупки оставьте у швейцара.

Время у него еще оставалось, и, зайдя в моментальную литографию, где в присутствии клиента изготавливались визитные карточки, он заказал себе сотню, велел обозначить под фамилией свое новое звание.

Затем отправился в редакцию.

Форестье встретил его высокомерно, как встречают подчиненных.

– А, ты уже пришел? Отлично. У меня как раз есть для тебя несколько поручений. Подожди минут десять. Мне надо кончить свои дела.

И он стал дописывать письмо.

На другом конце большого стола сидел маленький человечек, бледный, рыхлый, одутловатый, с совершенно лысым, белым, лоснящимся черепом, и что-то писал, по причине крайней близорукости уткнув нос в бумагу.

– Скажи, Сен-Потен, – спросил его Форестье, – в котором часу ты пойдешь брать интервью?

– В четыре.

– Возьми с собой Дюруа, вот этого молодого человека, что стоит перед тобой, и открой ему тайны своего ремесла.

– Будет сделано.

– Принес продолжение статьи об Алжире? – обратился к своему приятелю Форестье. – Начало имело большой успех.

– Нет, – сконфуженно пробормотал Дюруа, – я думал засесть за нее после завтрака... но у меня было столько дел, что я никак не мог...

Форестье недовольно пожал плечами.

– Неаккуратностью ты можешь испортить себе карьеру. Старик Вальтер рассчитывал на твой материал. Я ему скажу, что он будет готов завтра. Если ты воображаешь, что можно ничего не делать и получать деньги, то ты ошибаешься. – Помолчав, он прибавил: – Надо ковать железо, пока горячо, черт возьми!

Сен-Потен встал.

– Я готов, – сказал он.

Форестье, прежде чем дать распоряжения, откинулся на спинку кресла и принял почти торжественную позу.

– Так вот, – начал он, устремив взгляд на Дюруа, – два дня тому назад к нам в Париж прибыли китайский генерал Ли Ченфу и раджа Тапосаиб Рамадерао Пали<sup>39</sup>, – генерал остановился в «Континентале», раджа – в отеле «Бристоль». Вам следует взять у них интервью. – Тут он повернулся лицом к Сен-Потену: – Не забудь главных пунктов, на которые я тебе указывал. Спроси у генерала и у раджи, что они думают о происках Англии на Дальнем Востоке, о ее методах колонизации, об установленном ею образе правления, и питают ли они надежду на вмешательство Европы и, в частности, Франции. наших читателей крайне интересует отношение Индии и Китая к тем вопросам, которые так волнуют в настоящее время общественное мнение, – после некоторого молчания проговорил он, не обращая ни к кому в отдельности. И, снова уставившись на Дюруа, добавил: – Понаблюдай за тем, как

---

<sup>39</sup> ...китайский генерал Ли Ченфу и раджа Тапосаиб Рамадерао Пали... – Имена вымышлены, однако сама ситуация переговоров Франции с Китаем вполне реальна. Кроме того, известно, что настоящий раджа по имени Абусаиб Коандерао находился в 1884 г. в родном городе Мопассана Этрета в Нормандии (где скоропостижно скончался), и Мопассан впоследствии описал его похороны в новелле «Полено».

будет действовать Сен-Потен, – это великолепный репортер, он тебе в пять минут выпотрошит кого угодно.

Затем он опять с важным видом взялся за перо, – он явно хотел поставить своего бывшего однополчанина и нынешнего сослуживца в известные рамки, указать ему надлежащее место.

Как только они вышли за порог, Сен-Потен со смехом сказал Дюруа:

– Вот кривляка! Ломается даже перед нами. Можно подумать, что он принимает нас за своих читателей.

Они пошли по бульвару.

– Выпьем чего-нибудь? – предложил репортер.

– С удовольствием. Такая жара!

Они зашли в кафе и спросили прохладительного. И тут Сен-Потен разговорился. Толкуя о редакционных делах и обо всем на свете, он выказывал поразительную осведомленность:

– Патрон? Типичный еврей! А еврея, знаете, не переделаешь. Уж и народ!

Сен-Потен привел несколько ярких примеров скупости Вальтера, столь характерной для сынов Израиля, грошовой экономии, мелкого торгашества, унижительного выклянчивания скидок, описал все его ростовщические ухватки.

– И при всем том славный малый, который ни во что не верит и всех водит за нос. Его газета, официозная, католическая, либеральная, республиканская, орлеанистская<sup>40</sup>, этот слоеный пирог, эта мелочная лавчонка, нужна ему только как вспомогательное средство для биржевых операций и всякого рода иных предприятий. По этой части он не промах: зарабатывает миллионы на акционерных обществах, у которых ни гроша за душой...

Сен-Потен болтал без умолку, величая Дюруа «дорогим другом».

– Между прочим, у этого сквалыги подчас срываются с языка чисто бальзаковские словечки. На днях был такой случай: я, старая песочница Норбер и новоявленный Дон Кихот – Риваль сидим, понимаете ли, у него в кабинете, и вдруг входит наш управляющий Монтлен с известным всему Парижу сафьяновым портфелем под мышкой. Вальтер воззрился на него и спрашивает: «Что нового?» Монтлен простодушно отвечает: «Я только что уплатил долг за бумагу – шестнадцать тысяч франков». Патрон подскочил на месте от ужаса. «Что вы сказали?» – «Я уплатил господину Прива». – «Вы с ума сошли!» – «Почему?» – «Почему... почему... почему...» Вальтер снял очки, протер стекла, улыбнулся той плутоватой улыбкой, которая раздвигает его толстые щеки, когда он собирается сказать что-нибудь ядовитое или остроумное, и насмешливым, не допускающим возражений тоном сказал: «Почему? Потому что на этом деле мы могли получить скидку в четыре, а то и в пять тысяч франков». Монтлен удивился: «Да как же, господин Вальтер, ведь счета были в порядке, я их проверял, а вы принимали...» Тут патрон, на этот раз уже серьезно, заметил: «Нельзя быть таким простаком. Запомните, господин Монтлен, что сперва надо накапливать долги, а потом заключать полюбовные сделки». – Вскинув голову, Сен-Потен с видом знатока добавил: – Ну что? Разве это не Бальзак?

Дюруа хотя и не читал Бальзака, тем не менее уверенно подтвердил:

– Да, черт возьми!

Г-жу Вальтер репортер назвал жирной индюшкой, Норбера де Варена – старым неудачником, Риваля – бледной копией Фервака<sup>41</sup>. Затем снова заговорил о Форестье.

– Этому просто повезло с женитьбой – только и всего.

---

<sup>40</sup> *Его газета... орлеанистская...* – Орлеанисты – монархическая партия, прочившая на престол наследника Орлеанской династии, побочной ветви Бурбонов.

<sup>41</sup> *...бледной копией Фервака.* – Фервак – известный французский журналист 1870–1880-х гг.

– А что, в сущности, представляет собой его жена?

– О, это бестия, тонкая штучка! – потирая руки, ответил Сен-Потен. – Любовница мышиного жеребчика Водрека, графа де Водрека, это он дал ей приданое и выдал замуж...

Дюруа вдруг ощутил озноб, какую-то нервную дрожь, ему хотелось выругать этого болтуна, закатить ему пощечину. Но он лишь остановил его вопросом:

– Сен-Потен – это ваша настоящая фамилия?

– Нет, меня зовут Тома, – с наивным видом ответил тот. – Сен-Потеном<sup>42</sup> меня окрестили в редакции.

– Сейчас, наверно, уже много времени, – заплатив за напитки, сказал Дюруа, – а ведь нам еще предстоит посетить двух важных особ.

Сен-Потен расхохотался:

– Сразу видно, что вы человек неискушенный! Значит, вы полагаете, что я в самом деле пойду спрашивать у индуса и китайца, что они думают об Англии? Да я лучше их знаю, что они должны думать, чтобы угодить читателям «Французской жизни». Я проинтервьюировал на своем веку пятьсот таких китайцев, персов, индусов, чилийцев, японцев. По-моему, все они говорят одно и то же. Следовательно, я должен взять свою статью о последнем из наших гостей и переписать ее слово в слово. Придется только изменить заголовок, имя, титул, возраст, состав свиты. Вот тут надо держать ухо востро, не то «Фигаро» и «Голуа» живо уличат во вранье. Но у швейцаров «Бристоля» и «Континенталья» я в пять минут получу об этом самые точные сведения. Мы пройдем туда пешком и дорогой выкурим по сигаре. А с редакции потребуем пять франков разъездных. Вот, дорогой мой, как поступают люди практичные.

– При таких условиях быть репортером как будто бы выгодно? – спросил Дюруа.

– Да, но выгоднее всего хроника, это – замаскированная реклама, – с загадочным видом ответил Сен-Потен.

Они встали и пошли бульваром по направлению к церкви Мадлен.

– Знаете что, – вдруг сказал Сен-Потен, – если у вас есть какие-нибудь дела, то я вас не держу.

Пожав ему руку, Дюруа удалился.

Статья, которую он должен был написать вечером, не давала ему покоя, и он тут же, дорогой, принялся обдумывать ее. Он попытался припомнить некоторые факты, привести в порядок свои наблюдения, мысли, сделать кое-какие выводы – и так незаметно дошел до конца Елисейских полей, где ему лишь изредка попадались навстречу гуляющие, ибо в жаркие дни Париж становится безлюдным.

Пообедав в винном погребе на площади Этуаль, возле Триумфальной арки, он медленным шагом двинулся по кольцу внешних бульваров и, придя домой, сел за работу.

Но едва он увидел перед собой большой лист белой бумаги, как все, что он успел накопить, улетучилось, самый мозг его словно испарился. Он ловил обрывки воспоминаний, силился их удержать, но стоило ему ухватиться за них, и они ускользали или же мелькали перед ним с головокружительной быстротой, и он не знал, как их подать, что с ними делать, с чего начать.

Просидев битый час и заполнив пять страниц вариантами первой фразы, он сказал себе: «Я еще не наловчился. Придется взять еще один урок». И при одной мысли о совместной работе с г-жой Форестье, о продолжительной душевной, интимной, столь приятной беседе с нею наедине его охватила дрожь нетерпения. Боясь, что если он вновь примется за статью, то дело неожиданно может пойти на лад, Дюруа поспешил лечь.

Утром он долго лежал в постели, предвкушая сладость предстоящего свидания с г-жой Форестье и намеренно отдаляя его.

---

<sup>42</sup> Сен-Потен – буквально: «святой сплетник» (фр.).

Был уже одиннадцатый час, когда он, подойдя к знакомой двери, нажал кнопку звонка.  
– Господин Форестье занят, – объявил слуга.

Дюруа упустил из виду, что супруг может оказаться дома. Тем не менее он продолжал настаивать:

– Скажите, что я к нему по срочному делу.

Через пять минут он вошел в тот самый кабинет, где провел накануне такое чудесное утро.

Журналист, в халате, в туфлях, в маленькой английской шапочке, что-то писал, сидя в кресле, в котором вчера сидел Дюруа, а г-жа Форестье, в том же белом пеньюаре, стояла, облокотившись на камин, и, с папиросой в зубах, диктовала.

Дюруа остановился на пороге.

– Прошу прощения, я помешал вам?

Форестье злобно уставился на него.

– Что еще? – проворчал он. – Говори скорей, нам некогда.

– Нет, ничего, извини, – сконфуженно мямлил Дюруа.

Форестье рассвирепел:

– Да ну же, черт побери! Что ты тянешь? Ведь ты, надо полагать, вломился ко мне не для того, чтобы иметь удовольствие сказать нам: «С добрым утром»?

– Да нет... – преодолевая смущение, заговорил Дюруа. – Видишь ли, дело в том, что у меня опять ничего не вышло со статьей... а ты... вы оба были так добры прошлый раз... что я надеялся... я осмелился прийти...

– Ты просто издеваешься над людьми! – перебил его Форестье. – Ты, очевидно, вообразил, что я буду за тебя работать, а ты будешь каждый месяц получать денежки. Ловко придумано, что и говорить!

Г-жа Форестье продолжала молча курить и все улыбалась загадочной улыбкой, похожей на маску любезности, за которой таится ирония.

– Простите... я думал... я полагал... – вспыхнув, пролепетал Дюруа и вдруг отчетливо произнес: – Приношу вам тысячу извинений, сударыня, и еще раз горячо благодарю за прелестный фельетон, который вы за меня написали вчера. – Он поклонился, сказал Шарлю: – В три часа я буду в редакции.

И вышел.

Быстрым шагом идя домой, он ворчал себе под нос: «Ладно, сами сейчас напишем, вот увидите...»

Вдохновляемый злобой, Дюруа вошел к себе в комнату и сейчас же сел за работу.

Он развивал сюжет, намеченный г-жой Форестье, нагромождая детали, заимствованные из бульварных романов, невероятные происшествия, вычурные описания, мешая дубовый язык школьника с унтер-офицерским жаргоном. За час он успел написать статью и, довольный собою, понес этот ералаш в редакцию.

Сен-Потен, первый, кого он там встретил, с видом заговорщика крепко пожал ему руку.

– Читали мою беседу с индусом и китайцем? – спросил он. – Не правда ли, забавно? Париж от нее в восторге. А ведь я их и в глаза не видал.

Дюруа еще ничего не читал; он тотчас же взял газету и стал просматривать длинную статью под заглавием «Индия и Китай», а Сен-Потен в это время показывал ему и подчеркивал наиболее интересные места.

С деловым, озабоченным видом, отдуваясь, вошел Форестье.

– Вы уже здесь? Весьма кстати. Вы мне оба нужны.

И он дал им указания насчет того, какие именно сведения политического характера они должны раздобыть к вечеру.

Дюруа протянул ему свою рукопись.

– Вот продолжение статьи об Алжире.

– Очень хорошо, давай, давай, я покажу патрону.

На этом разговор кончился.

Сен-Потен увел своего нового коллегу и, когда они были уже в коридоре, спросил:

– Вы заходили в кассу?

– Нет. Зачем?

– Зачем? Получить деньги. Жалованье, знаете ли, всегда нужно забирать за месяц вперед. Мало ли что может случиться.

– Что ж... Я ничего не имею против.

– Я вас познакомлю с кассиром. Он не станет чинить препятствий. Платят здесь хорошо.

Дюруа получил свои двести франков и, сверх того, двадцать восемь франков за вчерашнюю статью; вместе с остатком жалованья, которое ему выдали в канцелярии, это составляло триста сорок франков.

Никогда еще не держал он в руках такой суммы, и ему казалось, что этого богатства должно хватить бог знает на сколько.

Сен-Потен, в расчете на то, что другие уже успели раздобыть нужные ему сведения и что при его словоохотливости и умении выпрашивать ему ничего не будет стоить выпытать их, предложил Дюруа походить с ним по редакциям конкурирующих между собою газет.

Вечером Дюруа освободился и решил махнуть в Фоли-Бержер. Задумав пройти наудачу, он отрекомендовался контролю:

– Я Жорж Дюруа, сотрудник «Французской жизни». На днях я был здесь с господином Форестье, и он обещал достать мне пропуск. Боюсь только, не забыл ли он.

Просмотрели список. Его фамилии там не оказалось. Тем не менее контролер был так любезен, что пропустил его.

– Ничего, проходите, сударь, – сказал он, – только обратитесь лично к директору – он вам, конечно, не откажет.

Войдя, Жорж Дюруа почти тотчас же увидел Рашель – ту женщину, с которой он отсюда ушел в прошлый раз.

Она подошла к нему:

– Здравствуй, котик. Как поживаешь?

– Очень хорошо, а ты?

– Тоже недурно. Знаешь, за это время я два раза видела тебя во сне.

Дюруа был польщен.

– Ах, ах! К чему бы это? – спросил он, улыбаясь.

– А к тому, что ты мне нравишься, дурашка, и что мы можем это повторить, когда тебе будет угодно.

– Если хочешь – сегодня.

– Очень даже хочу.

– Ладно, но только вот что... – Дюруа замялся, – его несколько смущало то, что он собирался сказать ей. – Дело в том, что я нынче без денег: был в клубе и проигрался в пух.

Учуяв ложь инстинктом опытной проститутки, привыкшей к торгашеским уловкам мужчин, она посмотрела ему прямо в глаза.

– Лгунишка! – сказала она. – Нехорошо так со мной поступать.

Дюруа сконфуженно улыбнулся:

– У меня осталось всего-навсего десять франков, хочешь – возьми их.

С бескорыстием куртизанки, исполняющей свою прихоть, она прошептала:

– Все равно, миленький, я хочу только тебя.

Не отводя восхищенного взора от его усов, Рашель с нежностью влюбленной оперлась на его руку.

– Выпьем сперва «гренадина», – предложила она. – А затем пройдемся разок. Мне бы хотелось пойти с тобой в театр, просто так, – чтобы все видели, какой у меня кавалер. Мы скоро пойдем ко мне, хорошо?

Он вышел от нее поздно. Было уже совсем светло, и он тотчас же вспомнил, что надо купить «Французскую жизнь». Дрожащими руками развернул он газету – его статьи там не было. Он долго стоял на тротуаре и, все еще надеясь найти ее, жадно пробежал глазами печатные столбцы.

Какая-то тяжесть внезапно легла ему на сердце. Он устал от бессонной ночи, и теперь эта неприятность, примешавшаяся к утомлению, угнетала его, как несчастье.

Придя домой, он, не раздеваясь, лег в постель и заснул.

Несколько часов спустя он явился в редакцию и прошел в кабинет издателя.

– Меня крайне удивляет, господин Вальтер, что в сегодняшнем номере нет моей второй статьи об Алжире.

Издатель поднял голову и сухо сказал:

– Я просил вашего друга Форестье просмотреть ее. Он нашел, что она неудовлетворительна. Придется вам переделать.

Дюруа был взбешен; он молча вышел из кабинета и бросился к Форестье:

– Почему ты не поместил сегодня моей статьи?

Журналист, откинувшись на спинку кресла и положив ноги на стол, прямо на свою рукопись, курил папиросу. С кислым выражением лица он отдельно и невозмутимо произнес глухим, словно доносившимся из подземелья голосом:

– Патрон признал ее неудачной и поручил мне вернуть ее тебе для переделки. Вот она, возьми.

И он показал пальцем на листы, лежавшие под пресс-папье.

Дюруа не нашелся что на это ответить, – до того он был удручен. Он сунул свое изделие в карман, а Форестье между тем продолжал:

– Отсюда ты пойдешь прямо в префектуру...

Он назвал еще несколько присутственных мест, куда надлежало зайти, и указал, какого рода сведения ему нужны сегодня. Дюруа, так и не найдя, чем уколоть Форестье, удалился.

На другой день он опять принес статью. Емy ее снова вернули. Переделав ее в третий раз и снова получив обратно, он понял, что поторопился и что только рука Форестье способна вести его по этой дороге.

Он уже не заговаривал о «Воспоминаниях африканского стрелка», он дал себе слово быть покладистым и осторожным, поскольку это необходимо, и, в чаянии будущих благ, добросовестно исполнять свои репортерские обязанности.

Он проник за кулисы театра и политики, в кулуары палаты депутатов и в передние государственных деятелей, он изучил важные физиономии чиновников особых поручений и хмурые, заспанные лица швейцаров.

Он завязал отношения с министрами, привратниками, генералами, сыщиками, князьями, сутенерами, куртизанками, посланниками, епископами, сводниками, знатными проходимцами, людьми из общества, извозчиками, официантами, шулерами, он сделался их лицеприятным и в глубине души равнодушным другом, и, беспрестанно, в любой день и час, сталкиваясь то с тем, то с другим, толкуя с ними исключительно о том, что интересовало его как репортера, мерил их всех одной меркой, на всех смотрел одинаково, всем давал одну и ту же цену. Сам себя он сравнивал с человеком, перепробовавшим одно за другим всевозможные вина и уже не отличающим «шато-марго» от «аржантея».

В короткий срок из него вышел замечательный репортер, который мог ручаться за точность своей информации, изворотливый, сообразительный, расторопный, настоящий клад для газеты, как отзывался о нем разбиравшийся в сотрудниках старик Вальтер.

Тем не менее он получал всего лишь десять сантимов за строчку и двести франков жалованья, а так как в кафе, в ресторанах все очень дорого, то он вечно сидел без денег и приходил в отчаяние от своей бедности.

«В чем тут секрет?» – думал он, видя, что у некоторых его коллег карманы набиты золотом, и тщетно старался понять, какие неизвестные ему средства применяют они, чтобы обеспечить себе безбедное существование. Зависть снедала его, и ему все мерещились какие-то необыкновенные подозрительные приемы, оказанные кому-то услуги, особого рода контрабанда, общепринятая и дозволенная. Нет, он должен во что бы то ни стало разгадать эту тайну, вступить в этот молчаливый заговор, раздвинуть локтями товарищей, не приглашающих его на дележ добычи.

И часто по вечерам, следя из окна за проходящими поездами, он обдумывал план действий.

## V

Прошло два месяца. Приближался сентябрь, а начало головокружительной карьеры, о которой мечтал Дюруа, казалось ему еще очень далеким. Он все еще прозябал в неизвестности, и самолюбие его от этого страдало, но он не видел путей, которые привели бы его на вершину житейского благополучия. Он чувствовал себя заточенным, наглухо замурованным в своей жалкой профессии репортера. Его ценили, но смотрели на него свысока. Даже Форестье, которому он постоянно оказывал услуги, не приглашал его больше обедать и обращался с ним как с подчиненным, хотя продолжал говорить ему по-приятельски «ты».

Правда, Дюруа не упускал случая тиснуть статейку. Отточив на хронике свое перо и приобретя такт, недостававший ему прежде, когда он писал вторую статью об Алжире, он уже не боялся за судьбу своих злободневных заметок. Но отсюда до очерков, где можно дать полную волю своей фантазии, или до политических статей, написанных знатоком, расстояние было громадное: одно дело – править лошадьми на прогулке в Булонском лесу, будучи простым кучером, и совсем другое дело – править ими, будучи хозяином. Особенно унижало его в собственных глазах то обстоятельство, что двери высшего общества были для него закрыты, что никто не держал себя с ним на равной ноге, что у него не было друзей среди женщин, хотя некоторые известные актрисы в корыстных целях время от времени принимали его запросто.

Зная по опыту, что все они, и светские львицы, и третьестепенные актрисы, испытывают к нему особое влечение, что он обладает способностью мгновенно завоевывать их симпатию, Дюруа с нетерпением стреноженного скакуна рвался навстречу той, от которой могло зависеть его будущее.

Ему часто приходила в голову мысль посетить г-жу Форестье, но оскорбительный прием, который ему оказали прошлый раз, удерживал его от этого шага, а кроме того, он ждал, чтобы его пригласил муж. И вот наконец, вспомнив о г-же де Марель, вспомнив о том, что она звала его к себе, он как-то днем, когда ему нечего было делать, отправился к ней.

«До трех часов я всегда дома», – сказала она ему тогда.

Дюруа позвонил к ней в половине третьего.

Она жила на улице Верней, на пятом этаже.

На звонок вышла молоденькая растрепанная горничная и, поправляя чепчик, сказала: – Госпожа де Марель дома, только я не знаю, встала ли она.

С этими словами горничная распахнула незапертую дверь в гостиную.

Дюруа вошел. Комната была довольно большая, скудно обставленная, неряшливо прибранная. Вдоль стен тянулись старые, выцветшие кресла, – должно быть, их расставляла по своему усмотрению служанка, так как здесь совсем не чувствовалось искусной и заботливой женской руки, любящей домашний уют. На неодинаковой длины шнурах криво висели четыре жалкие картины, изображавшие лодку, плывшую по реке, корабль в море, мельницу среди поля и дровосека в лесу. Было видно, что они давно уже висят так и что по ним равнодушно скользит взор беспечной хозяйки.

Дюруа сел в ожидании. Ждать ему пришлось долго. Но вот дверь отворилась, и вбежала г-жа де Марель в розовом шелковом кимоно с вышитыми золотом пейзажами, голубыми цветами и белыми птицами.

– Представьте, я была еще в постели, – сказала она. – Как это мило с вашей стороны, что вы пришли меня навестить! Я была уверена, что вы обо мне забыли.

С сияющим лицом она протянула ему обе руки, и Дюруа, сразу почувствовав себя легко в этой скромной обстановке, взял их в свои и поцеловал одну, как это сделал однажды при нем Норбер де Варен.

Г-жа де Марель усадила его.

– Как вы изменились! – оглядев его с ног до головы, воскликнула она. – Вы явно похорошели. Париж идет вам на пользу. Ну, рассказывайте новости.

И они принялись болтать, точно старые знакомые, наслаждаясь этой внезапно возникшей простотой отношений, чувствуя, как идут от одного к другому токи интимности, приязни, доверия, благодаря которым два близких по духу и по рождению существа в пять минут становятся друзьями.

Неожиданно г-жа де Марель прервала разговор.

– Как странно, что я так просто чувствую себя с вами! – с удивлением заметила она. – Мне кажется, я знаю вас лет десять. Я убеждена, что мы будем друзьями. Хотите?

– Разумеется, – ответил он.

Но его улыбка намекала на нечто большее.

Он находил, что она обольстительна в этом ярком и легком пеньюаре, менее изящна, чем та, другая, в белом, менее женственна, не так нежна, но зато более соблазнительна, более пикантна.

Г-жа Форестье с застывшей на ее лице благосклонной улыбкой, как бы говорившей: «Вы мне нравитесь» и в то же время: «Берегитесь», притягивавшей и вместе с тем отстранявшей его, – улыбкой, истинный смысл которой невозможно было понять, – вызывала желание броситься к ее ногам, целовать тонкое кружево ее корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим от ее груди. Г-жа де Марель вызывала более грубое, более определенное желание, от которого у него дрожали руки, когда под легким шелком обрисовывалось ее тело.

Она болтала без умолку, по обыкновению, приправляя свою речь непринужденными остротами, – так мастеровой, применив особый прием, к удивлению присутствующих, добивается успеха в работе, которая представлялась непосильной другим. Он слушал ее и думал: «Хорошо бы все это запомнить. Из ее болтовни о событиях дня можно было бы составить потом великолепную парижскую хронику».

Кто-то тихо, чуть слышно постучал в дверь.

– Войди, крошка! – крикнула г-жа де Марель.

Девочка, войдя, направилась прямо к Дюруа и протянула ему руку.

– Это настоящая победа, – прошептала изумленная мать. – Я не узнаю Лорину.

Дюруа, поцеловав девочку и усадив рядом с собой, ласково и в то же время серьезно начал расспрашивать ее, что она поделявала это время. Она отвечала ему с важностью взрослой, нежным, как флейта, голосом.

На часах пробило три. Дюруа встал.

– Приходите почаще, – сказала г-жа де Марель, – будем с вами болтать, как сегодня, я всегда вам рада. А почему вас больше не видно у Форестье?

– Да так, – ответил он. – Я был очень занят. Надеюсь, как-нибудь на днях мы там встретимся.

И он вышел от нее, полный неясных надежд.

Форестье он ни словом не обмолвился о своем визите.

Но он долго хранил воспоминание о нем, больше чем воспоминание, – ощущение нереального, хотя и постоянного присутствия этой женщины. Ему казалось, что он унес с собой частицу ее существа: внешний ее облик стоял у него перед глазами, внутренний же, во всей своей пленительности, запечатлелся у него в душе. Он жил под обаянием этого образа, как это бывает порой, когда проведешь с любимым человеком несколько светлых мгновений. Это некая странная одержимость – смутная, сокровенная, волнующая, восхитительная в своей таинственности.

Вскоре он сделал ей второй визит.

Как только горничная провела его в гостиную, явилась Лорина. На этот раз она уже не протянула ему руки, а подставила для поцелуя лобик.

– Мама просит вас подождать, – сказала Лорина. – Она выйдет через четверть часа, она еще не одета. Я посижу с вами.

Церемонное обхождение Лорины забавляло Дюруа, и он сказал ей:

– Отлично, мадемуазель, я с большим удовольствием проведу с вами эти четверть часа. Но только вы, пожалуйста, не думайте, что я человек серьезный, – я играю по целым дням. А потому предлагаю вам поиграть в кошку и мышку.

Девочка была поражена; она улыбнулась так, как улыбаются взрослые женщины, когда они несколько шокированы и удивлены, и тихо сказала:

– В комнатах не играют.

– Это ко мне не относится, – возразил он. – Я играю везде. Ну, ловите меня!

И он стал бегать вокруг стола, поддразнивая и подзадоривая Лорину, а она шла за ним, не переставая улыбаться снисходительно-учливой улыбкой, время от времени протягивала руку и дотрагивалась до него, но все еще не решалась за ним бежать.

Он останавливался, присаживался на корточки, но стоило ей нерешительными шажками подойти к нему, – и он, подпрыгнув, как чертик, выскочивший из коробочки, перелезтал в противоположный конец гостиной. Это ее смешило, в конце концов она не могла удержаться от смеха и, оживившись, засеменила вдогонку, боязливо и радостно вскрикивая, когда ей казалось, что он у нее в руках. Преграждая ей дорогу, он подставлял стул, она несколько раз обегала его кругом, потом он бросал его и хватал другой. Теперь Лорина, раздумываясь, увлеченная новой игрой, без усталости носилась по комнате и, следя за всеми его шалостями, хитростями и уловками, по-детски бурно выражала свой восторг.

Вдруг, в ту самую минуту, когда она уже была уверена, что он от нее не уйдет, Дюруа схватил ее на руки и, подняв до потолка, крикнул:

– Попалась!

Пытаясь вырваться, она болтала ногами и заливалась счастливым смехом.

Вошла г-жа де Марель и в полном изумлении остановилась:

– Боже мой, Лорина!.. Лорина играет... Да вы чародей, сударь...

Он опустил девочку на пол, поцеловал руку матери, и они сели, усадив Лорину посередине. Им хотелось поговорить, но Лорина, обычно такая молчаливая, была очень возбуждена и болтала не переставая, – в конце концов пришлось выпроводить ее в детскую.

Она покорилась безропотно, но со слезами на глазах.

Когда они остались вдвоем, г-жа де Марель, понизив голос, сказала:

– Знаете что, у меня есть один грандиозный план, и я подумала о вас. Дело вот в чем: я каждую неделю обедаю у Форестье и время от времени, в свою очередь, приглашаю их в ресторан. Я не люблю принимать у себя гостей, я для этого не приспособлена, да и потом я ничего не смыслю ни в стряпне, ни в домашнем хозяйстве, – ровным счетом ничего. Я веду божественный образ жизни. Так вот, время от времени я приглашаю их в ресторан, но втроем – это не так весело, а мои знакомые им не компания. Все это я говорю для того, чтобы объяснить свое не совсем обычное предложение. Вы, конечно, догадываетесь, что я прошу вас пообедать с нами, – мы соберемся в кафе «Риш» в субботу, в половине восьмого. Вы знаете, где это?

Он с радостью согласился.

– Нас будет четверо, как раз две пары, – продолжала она. – Эти пирушки – большое развлечение для нас, женщин: ведь нам все это еще в диковинку.

На ней было темно-коричневое платье; оно кокетливо и вызывающе обтягивало ее талию, бедра, плечи и грудь, и это несоответствие между утонченной, изысканной элегантностью ее костюма и тем неприглядным зрелищем, какое являла собой гостиняя, почему-

то приводило Дюруа в изумление, вызывало в нем даже некоторое не понятное ему самому чувство неловкости.

Все, что было на ней надето, все, что облегалo ее тело вплотную или только прикасалось к нему, носило на себе отпечаток изящества и тонкого вкуса, а до всего остального ей, по-видимому, не было никакого дела.

Он расстался с ней, сохранив, как и в прошлый раз, ощущение ее незримого присутствия, порой доходившее до галлюцинаций. С возрастающим нетерпением ожидал он назначенного дня.

Он опять взял напрокат фрак – приобрести парадный костюм ему не позволяли финансы – и первый явился в ресторан за несколько минут до условленного часа.

Его провели на третий этаж, в маленький, обитый красной материей кабинет с единственным окном, выходившим на бульвар. На квадратном столике, накрытом на четыре прибора, белая скатерть блестела, как лакированная. Бокалы, серебро, тарелки – все это весело сверкало, озаренное пламенем двенадцати свечей, горевших в двух высоких канделябрах.

Перед окном росло дерево, и его листва в полосе яркого света, падавшего из отдельных кабинетов, казалась сплошным светло-зеленым пятном.

Дюруа сел на низкий диван, обитый, как и стены, красной материей, ослабевшие пружины тотчас ушли внутрь, и ему почудилось, что он падает в яму.

Неясный шум наполнял весь этот огромный дом, – тот слитный гул больших ресторанов, который образуют быстрые, заглушенные коврами шаги лакеев, снующих по коридору, звон серебра и посуды, скрип отворяемых на мгновение дверей и доносящиеся вслед за тем голоса посетителей, закупоренных в тесных отдельных кабинетах.

Вошел Форестье и пожал ему руку с дружеской фамильярностью, какой он никогда не проявлял по отношению к нему в редакции «Французской жизни».

– Дамы придут вместе, – сообщил он. – Люблю я эти обеды в ресторане!

Он осмотрел стол, погасил тускло мерцавший газовый рожок, закрыл одну створку окна, чтобы оттуда не дуло, и, выбрав место, защищенное от сквозняка, сказал:

– Мне надо очень беречься. Весь месяц я чувствовал себя сносно, а теперь опять стало хуже. Простудился я вернее всего во вторник, когда выходил из театра.

Дверь отворилась, и в сопровождении метрдотеля вошли обе молодые женщины в шляпках с опущенной вуалью, тихие, скромные, с тем очаровательным в своей таинственности видом, какой всегда принимают дамы в подобных местах, где каждое соседство и каждая встреча внушают опасения.

Дюруа подошел к г-же Форестье, – она начала пенять ему за то, что он у них не бывает.

– Да, да, я знаю, вы предпочитаете госпожу де Марель, – с улыбкой взглянув на свою подругу, сказала она, – для нее у вас находится время.

Как только все уселись, метрдотель подал Форестье карту вин.

– Мужчины как хотят, – возбужденно заговорила г-жа де Марель, – а нам принесите замороженного шампанского, самого лучшего сладкого шампанского – понимаете? – и больше ничего.

Когда метрдотель ушел, она заявила с нервным смешком:

– Сегодня я напьюсь. Мы устроим кутеж, настоящий кутеж.

Форестье, по-видимому, не слышал, что она сказала.

– Ничего, если я закрою окно? – спросил он. – У меня уже несколько дней болит грудь.

– Сделайте одолжение.

Он подошел к окну, захлопнул вторую створку и с прояснившимся, повеселевшим лицом сел за стол.

Жена его хранила молчание, – казалось, она была занята своими мыслями. Опустив глаза, она с загадочной и какой-то дразнящей улыбкой рассматривала бокалы.

Подали остендские устрицы, крошечные жирные устрицы, похожие на маленькие уши, – они таяли во рту, точно соленые конфетки.

Затем подали суп, потом форель, розовую, как тело девушки, и началась беседа.

Речь шла об одной скандальной истории, наделавшей много шума: о происшествии с некоей светской дамой, которую друг ее мужа застал в отдельном кабинете, где она ужинала с каким-то иностранным князем.

Форестье от души смеялся над этим приключением, но дамы называли поступок нескромного болтуна гнусным и подлым. Дюруа принял их сторону и решительно заявил, что мужчина, кем бы он ни являлся в подобной истории – главным действующим лицом, наперником или случайным свидетелем, – должен быть нем как могила.

– Как чудесно было бы жить на свете, если б мы могли вполне доверять друг другу! – воскликнул он. – Часто, очень часто, почти всегда, женщину останавливает только боязнь огласки. В самом деле, разве это не так? – продолжал он с улыбкой. – Какая женщина не поддалась бы мимолетному увлечению, не покорилась бурной, внезапно налетевшей страсти, отказалась от своих любовных причуд, если б только ее не пугала возможность поплатиться за краткий и легкий миг счастья горькими слезами и неизгладимым позором!

Он говорил убедительно, горячо, словно защищая кого-то, словно защищая самого себя, словно желая, чтобы его поняли так: «Со мной это не страшно. Попробуйте – увидите сами».

Обе женщины поощряли его взглядом, мысленно соглашаясь с ним, и своим одобрительным молчанием словно подтверждали, что их строгая нравственность, нравственность парижанок, не устояла бы, если б они были уверены в сохранении тайны.

Форестье полулежал на диване, подобрав под себя одну ногу и засунув за жилет салфетку, чтобы не запачкать фрака.

– Ого! Дай им волю – можно себе представить, что бы они натворили! – неожиданно заявил он, прерывая свою речь циничным смехом. – Черт побери, бедные мужья!

Заговорили о любви. Дюруа не верил в существование вечной любви, однако допускал, что она может перейти в длительную привязанность, в тесную, основанную на взаимном доверии дружбу. Физическая близость лишь скрепляет союз сердец. Но о сценах ревности, мучительных драмах, мольбах и упреках, почти неизбежно сопровождающих разрыв, он говорил с возмущением.

Когда он кончил, г-жа де Марель сказала со вздохом:

– Да, любовь – это единственная радость в жизни, но мы сами часто портим ее, предъявляя слишком большие требования.

– Да... да... хорошо быть любимой, – играя ножом, подтвердила г-жа Форестье.

Но при взгляде на нее казалось, что мечты ее идут еще дальше, казалось, что она думает о таких вещах, о которых никогда не осмелилась бы заговорить.

В ожидании следующего блюда все время от времени потягивали шампанское, закусывая верхней корочкой маленьких круглых хлебцев. И как это светлое вино, глоток за глотком вливаясь в гортань, воспламеняло кровь и мутило рассудок, так, пьяня и томя, всеми их помыслами постепенно овладевала любовь.

Наконец на толстом слое мелких головок спаржи подали сочные, воздушные бараньи котлеты.

– Славная штука, черт бы ее побрал! – воскликнул Форестье.

Все ели медленно, смакуя нежное мясо и маслянистые, как сливки, овощи.

– Когда я влюблен, весь мир для меня перестает существовать, – снова заговорил Дюруа.

Он произнес это с полной убежденностью: одна мысль о блаженстве любви приводила его в восторг, сливавшийся с тем блаженством, какое доставлял ему вкусный обед.

Г-жа Форестье с обычным для нее безучастным выражением лица сказала вполголоса:  
– Ни с чем нельзя сравнить радость первого рукопожатия, когда одна рука спрашивает: «Вы меня любите?», а другая отвечает: «Да, я люблю тебя».

Г-жа де Марель залпом осушила бокал шампанского и, ставя его на стол, весело сказала:

– Ну, у меня не столь платонические наклонности.

Послышался одобрительный смех, глаза у всех загорелись.

Форестье развалился на диване, расставил руки и, облокотившись на подушки, серьезным тоном заговорил:

– Ваша откровенность делает вам честь, – сразу видно, что вы женщина практичная. Но позвольте спросить: какого мнения на этот счет господин де Марель?

Медленно поведя плечами в знак высочайшего, безграничного презрения, она отчеканила:

– У господина де Мареля нет на этот счет своего мнения. Он... воздерживается.

И вот наконец из области возвышенных теорий любви разговор спустился в цветущий сад благопристойной распущенности.

Настал час тонких намеков, тех слов, что приподнимают покровы, подобно тому, как женщины приподнимают платье, – час недомолвок и обиняков, искусно зашифрованных вольностей, бесстыдного лицемерия, приличных выражений, заключающих в себе неприличный смысл, тех фраз, которые мгновенно воссоздают перед мысленным взором все, чего нельзя сказать прямо, тех фраз, которые помогают светским людям вести таинственную, тонкую любовную игру, словно по уговору, настраивать ум на нескромный лад, предаваться сладострастным, волнующим, как объятие, мечтам, воскрешать в памяти все то постыдное, тщательно скрываемое и упоительное, что совершается на ложе страсти.

Подали жаркое – куропаток и перепелок и к ним горошек, затем паштет в мисочке и к нему салат с кружевными листьями, словно зеленый мох, наполнявший большой, в виде таза, салатник. Увлеченные разговором, погруженные в волны любви, собеседники ели теперь машинально, уже не смакуя.

Обе дамы делали по временам рискованные замечания, г-жа де Марель – с присущей ей смелостью, граничившей с вызовом, г-жа Форестье – с очаровательной сдержанностью, с оттенком стыдливости в голосе, тоне, улыбке, манерах, – оттенком, который не только не смягчал, но подчеркивал смелость выражений, исходивших из ее уст.

Форестье, развалившись на подушках, смеялся, пил, ел за обе щеки и время от времени позволял себе что-нибудь до того игривое или сальное, что дамы, отчасти действительно шокированные его грубостью, но больше для приличия, на несколько секунд принимали сконфуженный вид.

– Так-так, дети мои, – прибавлял он, сказав какую-нибудь явную непристойность. – Вы и не до того договоритесь, если будете продолжать в том же духе.

Подали десерт, потом кофе. Ликеры только еще больше разгорячили и отуманили головы и без того возбужденных собеседников.

Г-жа де Марель исполнила свое обещание: она действительно опьянела. И она сознавалась в этом с веселой и болтливой грацией женщины, которая, чтобы позабавить гостей, старается казаться пьянее, чем на самом деле.

Г-жа Форестье молчала, – быть может, из осторожности. Дюруа, боясь сделать какую-нибудь оплошность, искусно скрывал охватившее его волнение.

Закурили папиросы, и Форестье вдруг закашлялся.

Мучительный приступ надрывал ему грудь. На лбу у него выступил пот; он прижал салфетку к губам и, весь багровый от напряжения, давился кашлем.

– Нет, эти званые обеды не для меня, – отдышавшись, сердито проворчал он. – Какое идиотство!

Мысль о болезни удручала его, она мгновенно рассеяла то благодушное настроение, в каком он находился все время.

– Пойдемте домой, – сказал он.

Г-жа де Марель вызвала лакея и потребовала счет.

Счет был подан незамедлительно. Она начала было просматривать его, но цифры прыгали у нее перед глазами, и она передала его Дюруа.

– Послушайте, расплатитесь за меня, я ничего не вижу, я совсем пьяна.

И она бросила ему кошелек.

Общий итог достигал ста тридцати франков. Дюруа проверил счет, дал два кредитных билета и, получая сдачу, шепнул ей:

– Сколько оставить на чай?

– Не знаю, на ваше усмотрение.

Он положил на тарелку пять франков и, возвратив г-же де Марель кошелек, спросил:

– Вы разрешите мне проводить вас?

– Разумеется. Одна я не доберусь до дому.

Они попрощались с супругами Форестье, и Дюруа очутился в экипаже вдвоем с г-жой де Марель.

Он чувствовал, что она здесь, совсем близко от него, в этой движущейся закрытой и темной коробке, которую лишь на мгновение освещали уличные фонари. Сквозь ткань одежды он ощущал теплоту ее плеча и не мог выговорить ни слова, ни единого слова: мысли его были парализованы неодолимым желанием заключить ее в свои объятия.

«Что будет, если я осмелюсь?» – думал он. Вспоминая то, что говорилось за обедом, он преисполнялся решимости, но боязнь скандала удерживала его.

Забившись в угол, она сидела неподвижно и тоже молчала. Он мог бы подумать, что она спит, если б не видел, как блестели у нее глаза, когда луч света проникал в экипаж.

«О чем она думает?» Он знал, что в таких случаях нельзя нарушить молчание, что одно слово, одно-единственное слово, может испортить все. А для внезапной и решительной атаки ему не хватало смелости.

Вдруг он почувствовал, что она шевельнула ногой. Достаточно было этого чуть заметного движения, резкого, нервного, нетерпеливого, выражавшего досаду, а быть может, призыв, чтобы он весь затрепетал и, живо обернувшись, потянулся к ней, ища губами ее губы, а руками – ее тело.

Она слабо вскрикнула, попыталась выпрямиться, высвободиться, оттолкнуть его – и наконец сдалась, как бы не в силах сопротивляться долее.

Немного погодя карета остановилась перед ее домом, и от неожиданности из головы у него вылетели все нежные слова, а ему хотелось выразить ей свою признательность, поблагодарить ее, сказать, что он ее любит, что он ее боготворит. Между тем, ошеломленная случившимся, она не поднималась, не двигалась. Боясь возбудить подозрения у кучера, он первый спрыгнул с подножки и подал ей руку.

Слегка пошатываясь, она молча вышла из экипажа. Он позвонил и, пока отворяли дверь, успел спросить:

– Когда мы увидимся?

– Приходите ко мне завтракать, – чуть слышно прошептала она и, с грохотом, похожим на пушечный выстрел, захлопнув за собой тяжелую дверь, скрылась в темном подъезде.

Он дал кучеру пять франков и, торжествующий, не помня себя от радости, понесся домой.

Наконец-то он овладел замужней женщиной! Светской женщиной! Настоящей светской женщиной! Парижанкой! Как все это просто и неожиданно вышло!

Раньше он представлял себе, что победа над этими обворожительными созданиями требует бесконечных усилий, неистощимого терпения, достигается искусной осадой, под которой следует разуть ухаживания, вздохи, слова любви и, наконец, подарки. Но вот первая, кого он встретил, отдалась ему при первом же натиске, так скоро, что он до сих пор не мог опомниться.

«Она была пьяна, – думал он, – завтра будет другая песня. Без слез дело не обойдется». Эта мысль встревожила его, но он тут же сказал себе: «Ничего-ничего! Теперь она моя, а уж я сумею держать ее в руках».

И в том неясном мираже, где носились его мечты о славе, почете, счастье, довольстве, любви, он вдруг различил вереницы изящных, богатых, всемогущих женщин, которые, точно статистки в каком-нибудь театральном апофеозе, с улыбкой исчезали одна за другой в золотых облаках, сотканных из его надежд.

Сон его был полон видений.

На другой день, поднимаясь по лестнице к г-же де Марель, он испытывал легкое волнение. Как она примет его? А что, если совсем не примет? Что, если она не велела впускать его? Что, если она рассказала... Нет, она ничего не могла рассказать, не открыв всей истины. Значит, хозяин положения – он.

Молоденькая горничная отворила дверь. Выражение лица у нее было обычное. Это его успокоило, точно она и в самом деле могла выйти к нему с расстроенным видом.

– Как себя чувствует госпожа де Марель? – спросил он.

– Хорошо, сударь, как всегда, – ответила она и провела его в гостиную.

Он подошел к камину, чтобы осмотреть свой костюм и прическу, и, поправляя перед зеркалом галстук, внезапно увидел отражение г-жи де Марель, смотревшей на него с порога спальни.

Он сделал вид, что не заметил ее, и, прежде чем встретиться лицом к лицу, они несколько секунд настороженно следили друг за другом в зеркале.

Наконец он обернулся. Она не двигалась с места, – казалось, она выжидала. Тогда он бросился к ней, шепча:

– Как я люблю вас! Как я люблю вас!

Она раскрыла объятия, склонилась к нему на грудь, затем подняла голову. Последовал продолжительный поцелуй.

«Вышло гораздо проще, чем я ожидал, – подумал он. – Все идет прекрасно».

Наконец они оторвались друг от друга. Он молча улыбался, стараясь выразить взглядом свою беспредельную любовь.

Она тоже улыбалась, – так улыбаются женщины, когда хотят выразить свое согласие, желание, готовность отдаться.

– Мы одни, – прошептала она, – Лорину я отослала завтракать к подруге.

– Благодарю, – целуя ей руки, сказал он с глубоким вздохом. – Я обожаю вас.

Она взяла его под руку, – так, как будто он был ее мужем, – подвела к дивану, и они сели рядом.

Теперь ему необходимо было начать изящную, волнующую беседу, но, не найдя подходящей темы, он нерешительно проговорил:

– Так вы не очень на меня сердитесь?

Она зажала ему рот рукой.

– Молчи!

И они продолжали молча сидеть, глаза в глаза, сжимая друг другу горячие руки.

– Как я жажду обладать вами! – сказал он.

– Молчи! – снова сказала она.

Было слышно, как в столовой гремит тарелками горничная.

Он встал.

– Я не могу сидеть подле вас. Я теряю голову.

Дверь отворилась.

– Кушать подано.

Он торжественно повел ее к столу.

За завтраком они сидели друг против друга, беспрестанно обмениваясь улыбками, взглядами, занятые только собой, проникнутые сладким очарованием зарождающейся нежности. Они машинально глотали то, что им подавали на стол. Вдруг он почувствовал прикосновение ножки, маленькой ножки, блуждавшей под столом. Он зажал ее между своих ступней и уже не отпускал, сжимая изо всех сил.

Горничная входила и уходила, приносила и уносила блюда, и при этом у нее был такой равнодушный вид, как будто она ровно ничего не замечала.

После завтрака они вернулись в гостиную и снова сели рядом на диване.

Он подвигался все ближе и ближе к ней, пытаясь обнять ее. Но она ласковым движением отстраняла его.

– Осторожней, могут войти.

– Когда же мы останемся совсем одни? – прошептал он. – Когда же я смогу высказать, как я люблю вас?

Она нагнулась к самому его уху и еле слышно сказала:

– На днях я ненадолго зайду к вам.

Он почувствовал, что краснеет.

– Но я... я живу... очень скромно.

Она улыбнулась:

– Это не важно. Я приду поглядеть на вас, а не на вашу квартиру.

Он стал добиваться от нее, чтобы она сказала, когда придет. Она назначила день в конце следующей недели, но он, стискивая и ломая ей руки, стал умолять ее ускорить свидание; речи его были бессвязны, в глазах появился лихорадочный блеск, щеки пылали огнем желания, того неукротимого желания, какое всегда вызывают трапезы, совершаемые вдвоем.

Эти жаркие мольбы забавляли ее, и она постепенно уступала ему по одному дню. Но он повторял:

– Завтра... Скажите: завтра...

Наконец она согласилась.

– Хорошо. Завтра. В пять часов.

Глубокий радостный вздох вырвался у него из груди. И между ними завязалась беседа, почти спокойная, точно они лет двадцать были близко знакомы.

Раздался звонок, – оба вздрогнули и поспешили отодвинуться друг от друга.

– Это, наверно, Лорина, – прошептала она.

Девочка вошла и в изумлении остановилась, потом, вне себя от радости, захлопала в ладоши и подбежала к Дюруа.

– А, Милый друг! – закричала она.

Г-жа де Марель засмеялась:

– Что? Милый друг? Лорина вас уже окрестила! По-моему, это очень славное прозвище. Я тоже буду вас называть Милым другом!

Он посадил девочку к себе на колени, и ему пришлось играть с ней во все игры, которыми он ее научил.

Без двадцати три он распрощался и отправился в редакцию. На лестнице он еще раз шепнул в полуотворенную дверь:

– Завтра. В пять часов.

Г-жа де Марель, лишь по движению его губ догадавшись, что он хотел ей сказать, улыбкой ответила «да» и исчезла.

Покончив с редакционными делами, он стал думать о том, как убрать комнату для приема любовницы, как лучше всего скрыть убожество своего жилья. Ему пришло на ум развесить по стенам японские безделушки<sup>43</sup>. За пять франков он купил целую коллекцию миниатюрных вееров, экранчиков, пестрых лоскутов и прикрыл ими наиболее заметные пятна на обоях. На оконные стекла он наклеил прозрачные картинки, изображавшие речные суда, стаи птиц на фоне красного неба, разноцветных дам на балконах и вереницы черненьких человечков, бредущих по снежной равнине.

Его каморка, в которой буквально негде было повернуться, скоро стала похожа на разрисованный бумажный фонарь. Довольный эффектом, он весь вечер приклеивал к потолку птиц, вырезанных из остатков цветной бумаги.

Потом лег и заснул под свистки паровозов.

На другой день он вернулся пораньше и принес корзинку пирожных и бутылку мадеры, купленную в бакалейной лавке. Немного погодя ему пришлось еще раз выйти, чтобы раздобыть две тарелки и два стакана. Угощение он поставил на умывальник, прикрыв грязную деревянную доску салфеткой, а таз и кувшин спрятал вниз.

И стал ждать.

Она пришла в четверть шестого и, пораженная пестротой рисунков, от которой рябило в глазах, невольно воскликнула:

– Как у вас хорошо! Только уж очень много народу на лестнице.

Он обнял ее и, задышавшись от страсти, принялся целовать сквозь вуаль пряди волос, выбившиеся у нее из-под шляпы.

Через полтора часа он проводил ее до стоянки фиакров на Римской улице. Когда она села в экипаж, он шепнул:

– Во вторник, в это же время.

– В это же время, во вторник, – подтвердила она.

Уже стемнело, и она безбоязненно притянула к себе его голову в открытую дверцу кареты и поцеловала в губы. Кучер поднял хлыст, она успела крикнуть:

– До свидания, Милый друг!

И белая кляча, сдвинув с места ветхий экипаж, затрусила усталой рысцой.

В течение трех недель Дюруа принимал у себя г-жу де Марель каждые два-три дня, иногда утром, иногда вечером.

Как-то днем, когда он поджидал ее, громкие крики на лестнице заставили его подойти к двери. Плакал ребенок. Послышался сердитый мужской голос.

– Вот чертенок, чего он ревет?

– Да эта паскуда, что таскается наверх к журналисту, сшибла с ног нашего Никола на площадке. Я бы этих шлюх на порог не пускала, – не видят, что у них под ногами ребенок!

Дюруа в ужасе отскочил, – до него донеслись торопливые шаги и стремительный шелест платья.

Вслед за тем в дверь, которую он только что запер, постучали. Он отворил, и в комнату вбежала запыхавшаяся, разъяренная г-жа де Марель.

– Ты слышал? – еле выговорила она.

Он сделал вид, что ничего не знает.

---

<sup>43</sup> ...развесить по стенам японские безделушки. – Мода на восточные, в частности японские, изделия в украшении интерьера появилась во Франции в 1870–1880 гг. Подобными вещами увлекался поэт-парнасец Стефан Малларме (1842–1898), также Марсель Пруст (1871–1922) наделяет пристрастием к японским безделушкам свою героиню Одетту де Креси («В сторону Свана», 1913).

- Нет, а что?
- Как они меня оскорбили?
- Кто?
- Негодяи, что живут этажом ниже.
- Да нет! Что такое, скажи?

Вместо ответа она разрыдалась.

Ему пришлось снять с нее шляпу, расшнуровать корсет, уложить ее на кровать и растереть мокрым полотенцем виски. Она задыхалась. Но как только припадок прошел, она дала волю своему гневу.

Она требовала, чтобы он сию же минуту спустился вниз, отколотил их, убил.

– Но ведь это же рабочие, грубый народ, – твердил он. – Подумай, придется подавать в суд, тебя могут узнать, арестовать – и ты погибла. С такими людьми лучше не связываться.

Она заговорила о другом:

- Как же нам быть? Я больше сюда не приду.
- Очень просто, – ответил он, – я перееду на другую квартиру.
- Да... – прошептала она. – Но это долго.

Внезапно у нее мелькнула какая-то мысль.

– Нет-нет, послушай, – сразу успокоившись, заговорила она, – я нашла выход, представь все мне, тебе ни о чем не надо заботиться. Завтра утром я пришлю тебе «голубой листочек».<sup>44</sup>

«Голубыми листочками» она называла городские письма-телеграммы.

Теперь она уже улыбалась, в восторге от своей затеи, которой пока не хотела делиться с Дюруа. В этот день она особенно бурно проявляла свою страсть.

Все же, когда она спускалась по лестнице, ноги у нее подкашивались от волнения, и она всей тяжестью опиралась на руку своего возлюбленного.

Они никого не встретили.

Он вставал поздно и на другой день в одиннадцать часов еще лежал в постели, когда почтальон принес ему обещанный «голубой листочек».

Дюруа распечатал его и прочел:

«Свидание сегодня в пять, Константинопольская, 127. Вели отпереть квартиру, снятую госпожой Дюруа.  
Целую. *Кло*».

Ровно в пять часов он вошел в швейцарскую огромного дома, где сдавались меблированные комнаты.

- Здесь сняла квартиру госпожа Дюруа? – спросил он.
- Да, сударь.
- Будьте добры, проводите меня.

Швейцар, очевидно, привыкший к щекотливым положениям, которые требовали от него сугубой осторожности, внимательно посмотрел на него и, выбирая из большой связки ключ, спросил:

- Вы и есть господин Дюруа?
- Ну да!

Через несколько секунд Дюруа переступил порог маленькой квартиры из двух комнат, в нижнем этаже, напротив швейцарской.

---

<sup>44</sup> ...я пришлю тебе «голубой листочек». – Телеграммы во Франции в те времена рассылались на голубых бланках.

Гостиная, оклеенная довольно чистыми пестрыми обоями, была обставлена мебелью красного дерева, обитой зеленоватым репсом с желтыми разводами, и застелена жиденьким, вытканым цветами ковром, сквозь который легко прощупывались доски пола.

Три четверти крошечной спальни заполняла огромная кровать, эта необходимая принадлежность меблированных комнат; погребенная под красным пуховым одеялом в подозрительных пятнах, отделенная тяжелыми голубыми занавесками, тоже из репса, она стояла в глубине и занимала всю стену.

Дюруа был недоволен и озабочен. «Эта квартирка будет стоить мне бешеных денег, – подумал он. – Придется опять залезать в долги. Как это глупо с ее стороны!»

Дверь отворилась, и в комнату, шурша шелками, простирая объятия, вихрем влетела Клотильда. Она ликовала.

– Уютно, правда, уютно? И не нужно никуда подниматься, – прямо с улицы, в нижнем этаже. Можно влезать и вылезать в окно, так что и швейцар не увидит. Как нам будет хорошо здесь вдвоем!

Он холодно поцеловал ее, не решаясь задать вопрос, вертевшийся у него на языке.

Клотильда положила на круглый столик, стоявший посреди комнаты, большой пакет. Развязав его, она вынула оттуда мыло, флакон с туалетной водой, губку, коробку шпилек, крючок для ботинок и маленькие щипцы для завивки волос, чтобы поправлять непослушные пряди, вечно падавшие на лоб.

Ей доставляло особое удовольствие играть в новоселье, подыскивать место для каждой вещи.

Выдвигая ящики, она продолжала болтать:

– На всякий случай надо принести сюда немного белья, чтобы было во что переодеться. Это будет очень удобно. Если меня, например, застанет на улице ливень, я прибегу сюда сушиться. У каждого из нас будет свой ключ, а третий оставим у швейцара, на случай если забудем свой. Я сняла на три месяца, разумеется, на твое имя, – не могла же я назвать свою фамилию.

– Ты мне скажешь, когда нужно будет платить? – наконец спросил он.

– Уже уплачено, милый! – простодушно ответила она.

– Значит, я твой должник? – продолжал он допытываться.

– Да нет же, котик, это тебя не касается, это мой маленький каприз.

Он сделал сердитое лицо.

– Ну нет, извини! Я этого не допущу.

Она подошла и с умоляющим видом положила руки ему на плечи:

– Прошу тебя, Жорж, мне будет так приятно думать, так приятно думать, что наше гнездышко принадлежит мне, мне одной! Ведь это не может тебя оскорбить? Правда? Пусть это будет мой дар нашей любви. Скажи, что ты согласен, мой милый Жорж, скажи!..

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.